



УРАЛЬСКИЙ
Следопыт

11
1968

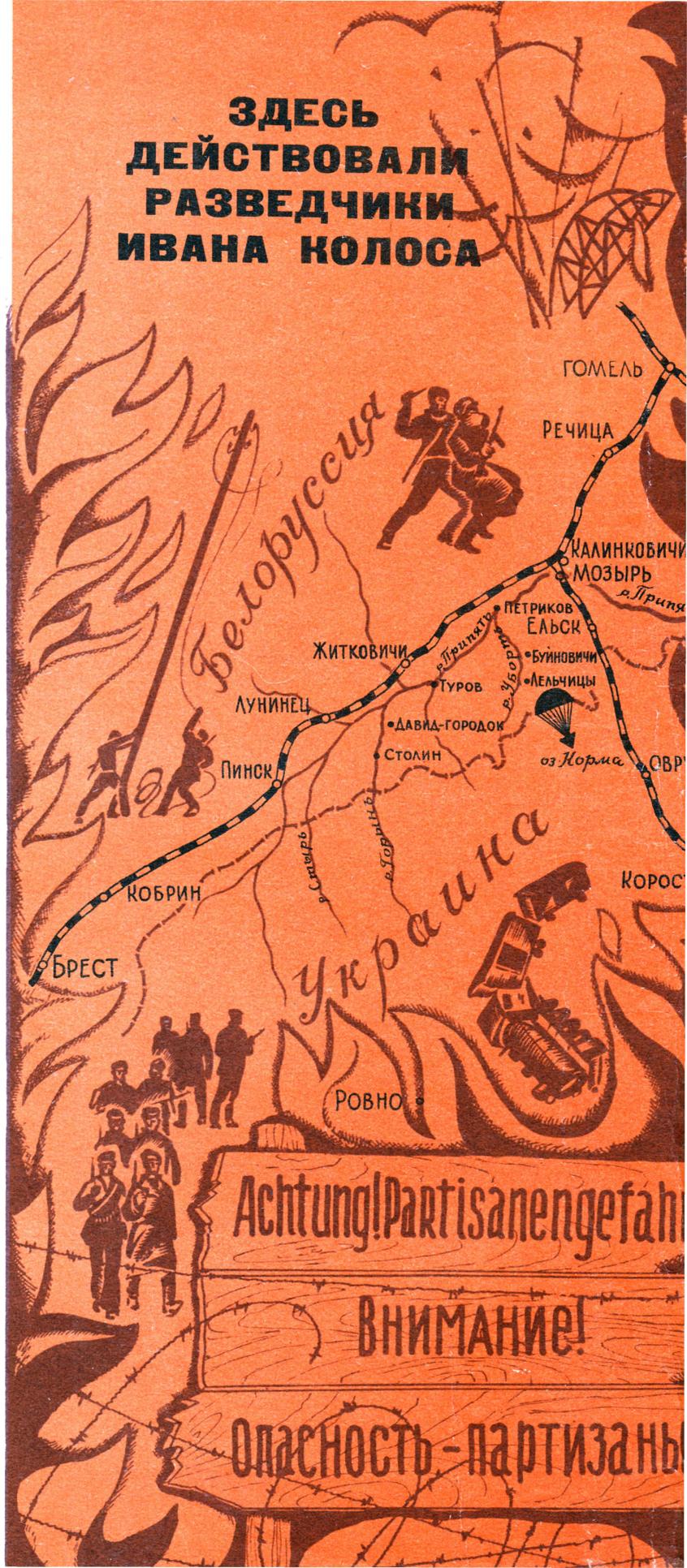


ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ССРС
СВЕРДЛОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
И СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

11
1968

ГОД ИЗДАНИЯ
ОДИННАДЦАТЫЙ

ЗДЕСЬ ДЕЙСТВОВАЛИ РАЗВЕДЧИКИ ИВАНА КОЛОСА



Иван КОЛОС

ДЕСАНТ ВЫБРОШЕН



Рассказывает бывший разведчик

Есть одно бесконечно дорогое для каждого человека воспоминание — о далеких днях детства. И где бы оно ни проходило — детство — места, связанные с ним, навсегда глубоко западают в сердце.

Давно собирался я побывать в белорусском Полесье. Там я вырос, там позже воевал. Но, как это сплошь и рядом бывает в жизни, дела звали куда угодно, только не в родные края. Часто с грустью вспоминал я окрестности родного села. Стремительную речушку, где плескались летними днями, забывая обо всем и еще не понимая красоты золотых песчаных берегов с фиолетовыми тенями от кудрявых дубов-великанов. Вечерний шелест листьев, ласковый и задумчивый... Смолистый запах сосны, чуть горьковатый запах плакущей ивы, аромат цветущей гречихи и запах утреннего тумана...

...Рейсовый автобус въехал в райцентр Лельчицы и остановился около почты. Толпились встречающие. Среди них я увидел своего партизанского друга Семена Шукаловича. Он всматри-

вался в окна автобуса. Увидев меня в двери, шагнул навстречу.

...Мы шли по широкой центральной улице, и нам то и дело встречались бывшие партизаны и друзья детства. Когда я говорил им, что собираюсь сегодня же идти в родную деревушку — удивлялись: ведь никого из моих родных там уже не осталось.

Вечером, после душевных бесед с боевыми друзьями, я подхватил чемодан и вышел на проселочную дорогу. Идти километров восемь. Стоял теплый августовский вечер. Я снял ботинки и босиком зашагал по мягкой дороге, как бывало в детстве. Пыль сверху была холодной, а в глубине хранила дневное тепло. Пахло рожью, березой и каким-то неизъяснимым ароматом вечерних полей. Колосья не шевелились. Изредка трещали кузнечики.

Быстро темнело. Я прибавил шаг. И вот раступились передо мной дубы-великаны, и я увидел извилистую ленту реки.

По кособогу спустился к воде. Здесь был

брод. Засучив брюки, шагнул в теплую воду, не спеша перебрел реку и вскарабкался на крутой правый берег. В темноте нашел знакомую тропинку, вьющуюся по самому краю обрыва. Все тот же острый речной запах.

Вот и плетень. В глубине огорода темнеет наша хата. И так вдруг захотелось перепрыгнуть через этот плетень, бегом броситься в хату!.. Комок застрял в горле, ноги не слушаются. Вижу соседские дома, в некоторых — светятся огни. В одном окне, как мне показалось, огонь горел ярче. «Неужто Олина хата?» Всмотриваюсь. Так и есть: в этой приземистой избе и жила Оля.

Оля!.. Я помню тебя, вижу твои ласковые синие глаза, твою маленькую косу, слышу твой певичий голос.

Помню тот весенний тихий вечер, когда ты уходила в разведку. Ты улыбалась, словно там, куда ты должна была идти, тебя ожидали песни. Тебя ожидало совсем другое... Гитлеровцы хотели взять тебя живой. Раненая, ты отбивалась. Мы вовремя подоспели на помощь. И ты опять нам улыбалась.

Ты была единственной женщиной в отряде. И каждый из нас видел в тебе подругу и сестру. Тебя мы все любили и берегли. И каждый из нас, молодых парней, втайне надеялся когда-нибудь назвать тебя своей...

Твое сердце тоже хотело любви, и ты выбрала достойнейшего из нас — бесстрашного Мишу Роднюка.

Я помню, Оля, какой нежной заботой мы окружили тебя, когда в дремучих лесах Полесья ты родила Аленку. Мы по одному робко входили в твою землянку и желали здоровья и счастья тебе и ей. А в походах мы несли ее на руках, бережно передавая друг другу, как символ жизни, за которую сражались и умирали.

Как мы все горевали, когда заболела Аленка! Мы отправили тебя в глухую деревушку под присмотр надежных людей. Туда мы принесли тебе скорбную весть о гибели нашего боевого друга и твоего мужа — Миши Роднюка.

И тебе самой не суждено было дожидаться победы. В деревушку, где ты жила с Аленкой, ворвались гитлеровцы. На этот раз мы опоздали. Мы нашли тебя уже мертвой и долго стояли у твоих ног, до тех пор, пока не услышали детский плач... Он доносился с огорода. Мы все бросились туда. Я поднял Аленку с земли, завернул в полу свитки и понес в хату. Где ты сейчас, Аленка?..

Я стоял, опершись на плетень, и глядел в темноту, в сторону родимой хаты. Мне показалось, что на крыльцо вышла мать, я вижу ее милое, доброе, с морщинками лицо. Она вышла встретить сына. Я слышу ее голос: «Сынок, что стоишь ты, заходи в хату...»

А вот и отец. Я узнаю его шаги, слышу легкий шелест посаженных им вишен. Вот он берет меня за плечо...

Не стало и тебя, мой бесконечно дорогой отец. Вот на этой полесской земле ты погиб как герой-партизан.

Начался дождь. Зашумели дубы. Зашелестела трава. Капли глухо ударялись о землю. Вдруг кто-то взял меня за руку. Я обернулся и узнал старую нашу соседку Кириллиху.

— Идемте в хату! — сказала она.

Дождь пошел сильнее. Мы зашли в горницу.

— Сядьте.

2 Родной запах деревенской избы. Близкий, домашний.

— У вашей хате живе зять Савихи, — Кириллиха собирала на стол и рассказывала, рассказывала о себе, о судьбе своих детей, о близких и знакомых.

На столе появились картошка, огурцы. Зашипело на сковородке сало. Вскоре пришли соседи. Пошли обычные в таких случаях разговоры, расспросы: как, что? Я хватал каждого в охапку и целовал как родного. Да они все были родными мне — по земле, по радостям и бедам прошлого.

Ночевал я в сарае, набитом душистым семеном. А на рассвете простился с гостеприимными хозяевами, с родным домом и пошел обратно в Лельчицы. Перед самым бродом увидел стайку бегущих к реке девочек. Они молча подошли ко мне и с любопытством стали осматривать. Я снял ботинки, повесил их на палку через плечо и шагнул в воду. И когда достиг середины реки, вдруг услышал звонкий голос:

— Дядя Янка, немножко сверните влево, там не так глубоко...

Я повернулся и увидел девушку, стоявшую у самой воды, очень похожую на Олю. Я вернулся на берег и подошел к ней.

— А я знаю, что вы были с моим папкой и мамкой в партизанах! — певуче проговорила она.

Я отвернулся на минуту, чтобы скрыть от Аленки выступившие слезы, успокоиться...

Десант

Стою на берегу большого полесского озера Корма. Оно все заросло камышом, вокруг плотной стеной смыкаются ели, березы. Спокойная водная поверхность, лишь изредка всплеснет рыба, и снова — тихо, до звона в ушах.

Когда-то, давным-давно, на берег озера Корма нас, тринадцать разведчиков, выбросили с самолета...

Но еще до этого была служба в белорусской комсомольской авиадесантной роте, напряженная, трудная учеба в военной школе, выпускные экзамены и — вызов в Москву... Помню, как готовился к встрече с генералом. Чистил сапоги, пуговицы. Чертовски волновался — до тех пор, пока не вошел в просторный кабинет и не доложил о своем прибытии. А потом... Потом генерал поднялся из-за стола и совсем по-домашнему поинтересовался:

— Ну, как настроение?..

— Да ничего, товарищ генерал, бодрое!

— Тогда, что ж, приступим к делу, — и он извлек из несгораемого шкафа приказ о назначении меня командиром разведывательной группы.

Этой группе предстояло действовать в глубоком тылу врага, в белорусском Полесье, по особому заданию. Генерал перечислил фамилии моих подчиненных: Дмитрий Стенько, Григорий Рудан, Алексей Пашуков, Михаил Роднюк, Николай Сидельников... Все они — мои однокашники, вместе же учились в военной школе. И тут я впервые почувствовал, что я уже не курсант, и даже не просто лейтенант, а командир, у которого есть подчиненные и который в ответе и за их жизни и за их поведение, и за то, как будет выполнена группой боевая задача...

— Приказ о вылете получите дополнительно. Из генеральского кабинета я вышел в со-

стоянии глубокой задумчивости и в коридоре носом к носу столкнулся с полковником Шороховым, своим преподавателем. Он поздравил меня с первым боевым заданием и спросил, отчего это я такой невеселый.

— Разрешите задать вопрос, товарищ полковник?

— Ну, задай! — одобрительно кивнул он.

— Товарищ полковник, ведь самому старшему из нас только двадцать три года... Неужели нельзя было подобрать командиром группы более опытного человека, уже побывавшего в тылу?..

Полковник улыбнулся, похлопал меня по плечу:

— Практика, товарищ Колос, — дело наживное. А теоретическую подготовку вы получили, по-моему, неплохую. Ничего, все будет в порядке!

Нашу группу поселили недалеко от аэродрома в отдельном домике, и мы стали готовиться к заброске во вражеский тыл. Подгоняли по себе одежду и снаряжение, проводили тренировки с полной боевой выкладкой: впереди вещмешок, за спиной — парашют, слева — автомат, справа — боеприпасы. На каждого приходилось килограммов по шестьдесят!

Вечером четырнадцатого июня 1942 года подъехал к нашему домику полковник Шорохов и вручил приказ о вылете.

На аэродроме было темно, хоть глаз выколи. Только время от времени, когда самолеты шли на посадку или взлетали, вспыхивали прожекторы. Нас подвезли к двухмоторному «ИЛу». Инструктор парашютного спорта выстроил всю группу, еще раз осмотрел на каждом снаряжение, дал последние наказы, и вот мы в самолете.

Пудобнее усаживаемся, проверяем, хорошо ли зацеплены парашютные карабины за тросы, натянутые вдоль бортов самолета. Я фонариком осветил лица товарищей: они были словно высечены из мрамора.

Командир корабля Дмитрий Бариллов еще раз предупредил: из-за сильного гула моторов вместо устных приказов сигналы будут подаваться сиреной.

Взревели моторы. Вспыхнул рядом прожектор. Самолет, пробежав по летному полю, поднялся в воздух.

Все прильнули к окнам. Я тоже смотрю на уходящую от нас землю. Там, внизу, сверкают молнии. Тысячи молний!.. Догадываюсь: это — фронт. На земле идет бой.

Неожиданно в самолете становится светло, как днем: мы попали в луч вражеского прожектора! Тревожно забилось сердце. Смотрю на товарищей: они спокойны, и мне становится легче. А вокруг самолета рвутся снаряды. Ощущение не из приятных. Но я — командир. Мне не до собственных ощущений. Я думаю о подчиненных: как поведут они себя дальше?

Вдруг самолет резко пошел к земле. Нас всех отбросило назад и с силой прижало к стенкам. Еще мгновение и... Нет, мы не врезались в землю: самолет вышел из пике над самыми верхушками деревьев. Совсем близко под нами пронеслись соломенные крыши хат...

Немного погодя из пилотской кабины вышел Бариллов и прокричал мне в самое ухо:

— Как самочувствие? Думали — кувыркнемся?

Черта-с-два тут успеешь что-нибудь подумать.

Бариллов рассмеялся:

— Маневр! А теперь вот так, на бреющем, и будем лететь до самого конца.

Южнее Гомеля в самолете завывала сирена: «Всем встать!»

Бариллов открыл дверцу:

— Ну, счастливо, ребята!

Первым в темень нырнул Николай Сидельников. За ним — Иван Казак. Третий, четвертый, пятый... Предпоследним был Михаил Роднюк, невысокого роста, веснушчатый парень, младший лейтенант. Он подошел к двери. Раскинув руки, уперся ими перед прыжком в края дверного проема... И тут что-то упало мне на ноги. Я нагнулся и увидел, что у Роднюка из парашюта вывалилась часть строп — расстегнулись лямки.

— В чем дело? — закричал Бариллов.

Я схватил Роднюка за плечи и крикнул ему в ухо, чтобы он отошел от двери. Михаил обернулся, спокойно подобрал стропы и — выпрыгнул из самолета.

Я хотел прыгать следом за ним, но теперь уже Бариллов удержал меня:

— Вас отнесет далеко от группы. Пока возились с этим парнем — добрый десяток километров пролетели...

Самолет сделал круг, вернулся к месту приземления группы. Я прыгнул. Парашют благополучно раскрылся, и я стал плавно опускаться на землю.

Основным нашим ориентиром было озеро Корма. Пристально всматриваюсь вниз, стараясь поймать глазом отблеск водной глади, но никакого озера и в помине нет. И тогда мною начинает овладевать состояние какого-то безразличия. Думаю: будь, что будет... Земля приближается навстречу — все быстрее и быстрее. И чем ближе земля, тем увереннее я себя чувствую. Состояние безразличия и покорности судьбе проходит. Я снова готов бороться, готов действовать — что бы меня ни ожидало там, на земле.

Толчок! Чувствую, что куда-то проваливаюсь. Не будь вещмешка — ушел бы я с головой в трясину... С трудом выбрался из нее, утилил парашют, отошел в сторону метров на двести. Прислушался — никого. И вдруг прожектор резанул ночную толщу неба. Послышались выстрелы.

Я достал фонарик, опустил зеленое стекло. Посигналил. Еще. Наконец, увидел ответные огоньки: первый, второй, третий, четвертый...

Собралось одиннадцать человек. Двенадцатый, Миша Роднюк, на мои сигналы не отозвался... Я рассказал товарищам, как нехорошо у него вышло с парашютом, Николай Сидельников тяжело вздохнул:

— Вот как бывает: еще ничего не сделали, а уже потеряли товарища...

Снова послышались выстрелы. Надо было скорее уходить. Если немцы заметили советский самолет, кружившийся ночью над лесом, то наверняка их карательный отряд уже спешит сюда. Немцы ведь тоже не дураки. Вполне возможно, что район нашего приземления уже оцеплен...

Но как уйти и оставить товарища? Мы, конечно, заранее предусмотрели и такой вариант: на случай, если во время приземления потеряем друг друга или кто-то отстанет от группы — встречаемся в условленное время у партизанского связного. Но одно дело, когда обдумываешь по-

добные варианты в спокойной обстановке, дома, и совсем другое — принять решение здесь, под носом у немцев. Ну, уйдем мы, думаю, а Роднюк, может, сейчас где-нибудь в двух шагах от нас лежит в беспомощном состоянии: его могли ранить, мог он во время приземления и удариться обо что-нибудь головой, потерять сознание...

Даю команду: рассредоточиться и пройти по лесу цепочкой. Вдруг наткнемся на Роднюка...

А стрельба меж тем все усиливается. Послышался лай собак. Плохо дело! Значит, по следу пойдут ищейки...

Через каждые три-четыре километра мы останавливаемся, прислушиваемся, делаем передышку. Выстрелы и лай собак следуют за нами...

Потеряв надежду отыскать Мишу Роднюка, мы ускорили шаг. Идем уже безостановочно. Стараемся не сбиваться с заданного направления и в то же время держимся в стороне от проезжих дорог и населенных пунктов. Мы все еще не оторвались от погони, но уже валимся с ног от усталости. У многих на ногах кровавые мозоли. Ночью, в темноте, следим друг за другом, чтобы кто-нибудь и в самом деле не упал. Людям необходим отдых. Хотя бы на час. Гитлеровцы за этот час, конечно, подойдут совсем близко. Но если не отдохнуть — они настигнут нас еще скорее — вконец обессилевших, не способных к сколь-нибудь активной борьбе.

...Впереди, на фоне ночного неба, возникают чахленькие березки и сосенки. Болото. Решаем — как ни тяжело — идти напрямик, по воде. Ноги вязнут в тине, а выше — до пояса — вода. Ребята, как слепые, держатся друг за друга. С великим трудом, но все же продвигаемся вперед.

Наконец, выбираемся на сушу и оказываемся на острове. Ну вот, думаю, тут и отдохнем. Овчарки на воде потеряют след, и немцы навер-

няка пойдут в обход болота. Это даст нам немалый выигрыш во времени. Отдохнем, думаю, и — форсированным маршем двинемся дальше, снова через болото.

Глянул я на товарищей, а они уже все спят: кто сидя, кто лежа, кто даже на корточках. Мой заместитель по политчасти Николай Сидельников, который все время подбадривал разведчиков, сидит, уронив голову на руки.

— И ты спишь, Николай? — спросил я, тронув его за плечо. Он вскинулся, приоткрыл глаза.

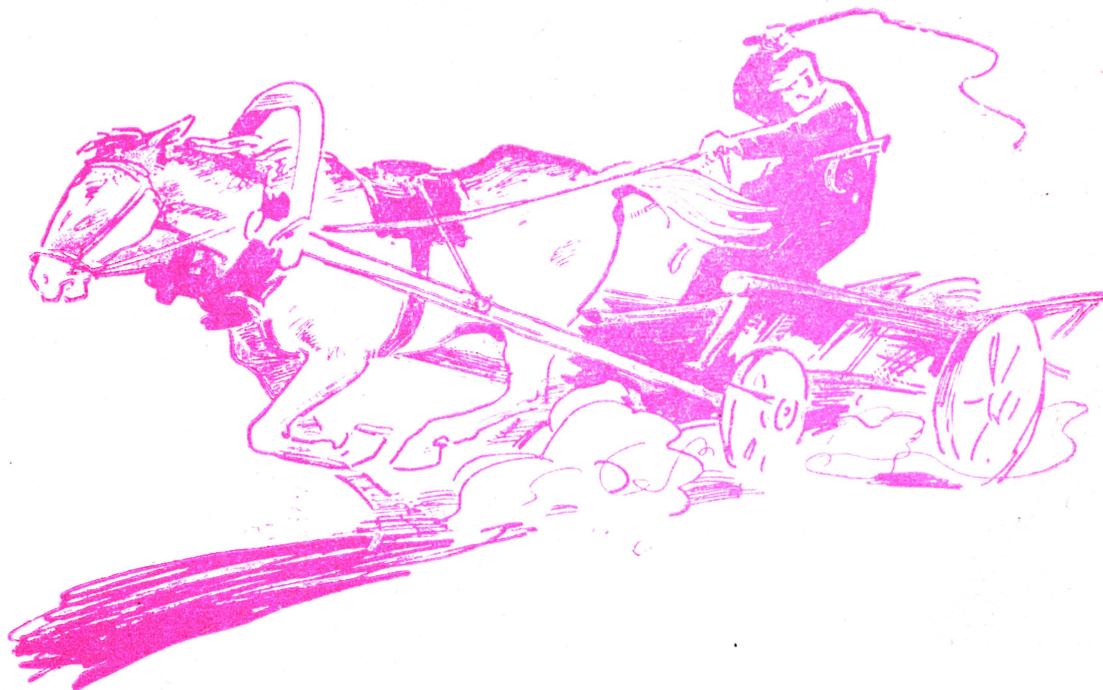
— Нет, не сплю... — и снова уронил голову.

Что ж, думаю, остается только командиру уснуть! А глаза сами так и смыкаются... Кое-как добрал я до берега и умыл лицо холодной водой. А сам все время прислушиваюсь к выстрелам: вот гитлеровцы приблизились к тому берегу, свернули направо — не пошли по болоту.

Проходит тридцать минут, сорок, пятьдесят... Чувствую: вот-вот усну. И бери тогда нас фриц голыми руками! Решил разбудить Николая Сидельникова — пусть теперь он постоит на часах, а я отдохну! И как раз в это время резанула тишину длинная очередь. Я узнал немецкий скорострельный пулемет. Следом — вторая очередь. С березы, под которой я стоял, посыпались ветки. Но никто из разведчиков не вскочил, не схватился за оружие!.. Они продолжали спать богатырским сном. Подбегаю к одному, беру за шиворот, трясу — бесполезно. К другому, к третьему — тот же результат. Я растерялся. Надо немедленно отходить, а они все спят!..

Схватил, помню, автомат, решил дать очередь. Но вовремя одумался: ведь этим самым я помог бы противнику скорее обнаружить группу. Кричать громко тоже нельзя. Что делать?

— Немцы!.. — в отчаянии, негромко говорю я как бы самому себе.



И тут свершилось чудо: все мигом вскочили! А Николай Сидельников — так тот был даже уверен, что и не спал вовсе...

Мы снова погружаемся по пояс в болото и идем через него, взяв чуть правее выстрелов. Начало светать. Резче стали вырисовываться сосны, березы. Мы поднялись на небольшой песчаный, поросший сосняком бугорок. На некоторое время стрельба прекратилась, но затем снова — уже и слева, и справа — затрещали автоматные очереди. Мы залегли. Увидели идущих цепочкой немецких солдат. Значит, заметили они нас! Но нам нельзя ввязаться в бой: силы явно неравные, а мы непременно должны выбраться отсюда.

Оставляю двоих — Николая Сидельникова и Ивана Казака — прикрывать группу, и быстро, бегом, увожу остальных разведчиков в глубь леса. Сидельников с Казаком блестяще справились со своей задачей: автоматным огнем они заставили гитлеровцев залечь, а вскоре сами целыми и невредимыми присоединились к нам.

Похоже, что на этот раз нам удалось оторваться от погони: лес густой, он надежно спрятал нас: попробуй найди в нем горстку одетых в маскировочные халаты разведчиков!

Я развернул карту. Сколько еще идти? По прямой — километров четырнадцать, а лесом, минуя топи, — еще больше. Решаем идти лесом. Я еще раз напомнил товарищам, что мы не должны ввязываться в бой, пока не установим связь с партизанами.

И вот в это время совсем недалеко от нас загремели винтовочные выстрелы — как раз в той стороне, куда мы двигались. Непохоже, чтоб немцы так стреляли. Полиция? Мы с Николаем Сидельниковым пошли в разведку. Григорий Судан, оставшись за старшего, расположил группу полукольцом — на случай опасности.

Прошли мы с Николаем метров триста и увидели грунтовую дорогу. Свежие следы повозки и лошадиных копыт вели на запад.

И снова — в той стороне, куда вели следы, — прогремели выстрелы, а затем наступила тишина. Группе предстояло перейти эту дорогу. А переходить дорогу в тылу врага днем очень сложно. Поэтому мы с Николаем решили выждать — что будет дальше: не явятся ли на эти выстрелы немцы?

Вдруг слышим автоматную стрельбу. Мы лежим в кювете, ждем. Я слева наблюдаю за дорогой, а Николай Сидельников — справа.

Я первый заметил, как из-за поворота показалась телега, запряженная тощей лошадейкой. На телеге сидит возница в каком-то необычном одеянии: китель цвета хаки, на голове — кепчонка.

Он всю нахлестывает кнутом лошадейку, видно, спешит. Всмотриваюсь попристальнее в его лицо.

Ничего не могу понять: на повозке... наш Михаил Роднюк!

Забыв об опасности, мы с Николаем почти одновременно вскочили и выбежали на дорогу. Михаил, увидев нас, всем корпусом подался назад и выставил автомат. Но вот и он узнал нас...

Некогда было расспрашивать, каким образом он попал на эту телегу. Мы взяли лошадь под уздцы и — в лес, к товарищам. А те уже приготовились к бою. Но, увидев нас, сразу заулыбались, кинулись обнимать Роднюка.

На все вопросы Роднюк отвечал коротко: — Был в гостях у фрицев. Показал я им...

Григорий Рудан пошутил:

— Спасибо, Михаил, что хоть нашел нам транспорт, — снял свой вещмешок с плеч и кинул на подводу. А оттуда вдруг выскочил поросенок. Вот это да! Михаил сказал:

— Там еще две винтовки под соломой... Тоже подарок от фюрера.

Мы сложили на повозку снаряжение и, дождавшись темноты, двинулись в путь обочинной дороги. Тут Михаил уже подробней рассказал, как все было. Он приземлился в пяти-шести километрах от озера Корма. Увидел луч прожектора, услышал выстрелы, гул машины, лай собак и решил уходить, не дожидаясь остальных. Так было условлено еще в Москве: если нарвемся на засаду или потеряем из виду друг друга, — встречаемся через три или четыре дня у партизанского связного.

Два дня шел Роднюк по лесу, слыша выстрелы слева и справа. На третий день подошел к болоту. Как раз в это время мы там вели бой. Роднюк подался в сторону и вышел на грунтовую дорогу. Сразу переходить ее не решился. Около часа лежал в кювете, наблюдая. И вот показалась повозка: два полицая, оба пьяные, а рядом — эсэсовский офицер на коне. Тоже нетрезвый.

Полицай развлекались. Один подбросит кепку, а другой в нее из винтовки — бах!.. И так несколько раз, по очереди. Немец хохочет:

— Шлехт шиссен! (Плохо стреляет!), — и требует, чтоб ему подбросили кепку.

Один из полицаяев подбрасывает свою кепку, и эсэсовец палит из парабеллума. И тоже, как видно, мимо: ругается почему зря.

Роднюк подпустил гитлеровцев ближе и дал несколько автоматных очередей. Полицейские были уничтожены на месте, а офицер пытался ускакать, но пуля настигла и его. Роднюк снял с полицейского китель, забрал документы, оружие, поросенка (как позже выяснилось, гитлеровцы расстреляли в соседнем селе старика со старухой, забрали поросенка, мед и везли добычу к себе в управу), сел в повозку, взял в руки вожжи и — поехал.

Через день мы все были у партизанского связного, а уж он переправил нас в отряд, которым командовал Антон Мищенко.

Теперь нас ждала работа.

Маленькая хитрость

К концу 1942 года моя группа военных разведчиков выросла в партизанский отряд. Мы обзавелись надежными людьми в близлежащих городах и селениях, на железнодорожных станциях. Мы вели разведку, делали налеты на гарнизоны и пускали под откосы эшелоны с техникой. Отовсюду к нам приходили люди и просили принять их в партизаны. Отряд продолжал расти, и в начале следующего, 1943 года был переименован в Лельчицкую бригаду. Командиром ее был назначен я, комиссаром — Роман Лукьянович Лин. Для большей маневренности мы разделили бригаду на четыре небольших, но боеспособных и подвижных отрядов.

...Железнодорожный мост через реку Богунь и подходы к нему охранялись усиленным ба-

тальоном эсэсовцев. Чтобы попасть на мост, нужно было пройти через контрольно-пропускной пункт. И не просто пройти. Стоявшая перед нами задача формулировалась коротко и ясно: мы должны взорвать мост. По нашим расчетам выходило, что на мост надо было доставить, то есть пронести через контрольно-пропускной пункт, не менее двадцати килограммов тола. И это еще не все: далее, уже на мосту, надо было подготовить тол к взрыву, зажечь бикфордов шнур...

Теоретически задача казалась невыполнимой. Но, с другой стороны, не выполнить ее, не вывести из строя мост, через который гитлеровцы перебрасывали на Восточный фронт свежие силы, — мы тоже не могли.

В таких случаях никогда не мешает посоветоваться с кем-нибудь из бывалых, набравшихся практической мудрости старичков партизан. Один из таких мудрых старичков — Архип Войтушевич — работал как раз на ближайшей от моста станции Житковичи, в депо.

Послали мы к Архипу на совет Михаила Роднюка. И Войтушевич предложил остроумный план: прежде чем взрывать мост, надо было где-нибудь километрах в трех в противоположной от станции стороне вывести из строя железнодорожное полотно. Гитлеровцы наверняка всполошатся, пригонят из ближайших деревень народ восстанавливать дорогу...

И мы постарались: подорвали целых двести метров рельсов. Немцы стали действовать именно так, как и предполагал Войтушевич. Майор-эсэсовец, командовавший всеми перевозками на станции, тут же послал своих подчиненных в окрестные села, и к утру было собрано около сорока рабочих. В одном из сел немцы «мобилизовали» Роднюка и еще двоих партизан.

В полдень всех погнали в депо за инструментом, и там Роднюк снова встретился с Войтушевичем. Пока рабочие носили инструмент, Роднюк и его товарищи готовили тележку. Они незаметно разложили на ней заранее доставленные в депо толовые шашки и, накрыв их грязным брезентом, навалили на тележку костью, кирок, лопат, ломов. Когда раздалась команда, они покатали тележку по рельсам к месту работ. А попасть туда можно было только через мост — на этом и строился весь наш расчет.

К тому времени, когда колонна рабочих двинулась в путь, один из моих отрядов уже находился недалеко от моста, в засаде. Я видел, как Роднюк и его товарищи подошли к контрольно-пропускному пункту. Офицер-эсэсовец поднял деревянную палочку: стоп, проверка! Рабочие остановились. Офицер подошел к тележке, стал ее осматривать.

Затаив дыхание, наблюдали мы за происходящим, и я помню, как жутко мне было в эти минуты.

Но вот мы облегченно вздохнули: проверка окончена. Офицер так и не заглянул под брезент... Медленно ползет тележка по рельсам. До моста остается каких-нибудь двести метров... Сто... Двадцать... Вот тележка въезжает на мост, и в этот момент мы открываем огонь. Гитлеровцы не ожидали засады. Когда они пришли в себя и открыли ответный огонь, было уже слишком поздно: раздался оглушительный взрыв. Первый пролет моста рухнул в воду. Партизаны еще некоторое время продолжали перестрелку, чтобы дать разведчикам возможность уйти. Роднюк и его товарищи, как только был подожжен бик-

фордов шнур, бросились в воду и теперь плыли в нашу сторону. Вскоре они благополучно выбрались на берег. И тогда я отдал приказ отходить. Больше нам здесь нечего было делать: задание мы выполнили!

Личный шофер

Все свои действия мы координировали с другими партизанскими соединениями Южно-Припятской зоны белорусского Полесья. А нередко к нам «в гости» захаживали и наши украинские собратья. Так, летом 1943 года на берегу реки Уборты, близ деревни Боровое, в густом сосновом лесу расположилось соединение украинских партизан под командованием А. Ф. Федорова.

Однажды два наших отряда и хорошо вооруженный батальон федоровцев совместно совершили налет на местечко Скрыгалово, в тридцати пяти километрах от города Мозырь, и разгромили расположившийся там батальон гитлеровцев.

В то время мы усиленно готовились к проведению крупной операции под условным наименованием «Рельсовая война». Цель этой операции состояла в одновременном массированном налете на железнодорожную магистраль Брест — Гомель. Местечко Скрыгалово, раскинувшееся на берегу Припяти, немцы собирались превратить в один из своих опорных пунктов. Отсюда они могли контролировать довольно значительный участок между рекой и железнодорожной магистралью. И именно здесь, вблизи Скрыгалово, мы намечали переправить наших подрывников на тот берег. Так что налет на это местечко входил в план подготовки к «Рельсовой войне».

Однако главное внимание в этот подготовительный период мы уделяли ведению разведки. Наши разведчики работали, что называется, в поте лица: добывали данные о численности и организации немецкой охраны на станциях и вдоль железнодорожного полотна, о пропускной способности отдельных станций и участков пути, искали наиболее удобные подходы к ним. Если разведка проведена хорошо, считай, что сделана половина дела.

Уже были получены точные сведения из Мозырской бригады о работе железнодорожных станций Мозырь и Калинковичи. Партизаны Ельской бригады сообщили данные об организации охраны на участке Ельск — Словечно. Но для успешного проведения операции нам необходимо было заполучить также сведения о движении поездов и на прилегающих к основной магистрали путях. В частности, нас интересовала пропускная способность крупных железнодорожных станций Коростень и Овруч, расположенных на украинской земле.

Туда — в Коростень и Овруч — мы решили послать опытного разведчика Дмитрия Стенько, снабдив его документами убитого им же самим полицейского.

На станции Коростень стоял воинский эшелон с танками, тяжелыми орудиями и пехотой. У каждого вагона — часовые. Гражданское население на станцию не пускали.

Стенько пошел на рынок. Там он узнал, что недалеко от города гитлеровцы восстанавливают железнодорожный мост и открыли биржу труда для вербовки рабочих. Прекрасно!

В грязном полутемном коридоре было многолюдно, шумно. Мужчины и женщины сидели на корточках вдоль стен. В самом конце коридора перед большой дверью толпилась очередь.

— Кто последний?

— Я, — неохотно отозвался старичок.

— А без очереди нельзя?

Старичок не удостоил Дмитрия ответом. Стенько протянул ему пачку сигарет.

— Доброе курево, отец! Попробуй.

— Не курю.

Дмитрий больше не допекал старика распросами, стал терпеливо дожидаться своей очереди.

..Проверив документы, немец осмотрел Дмитрия с головы до пят и уж после этого осветился:

— Что будет делать?

— Все могу, господин начальник, — ответил Дмитрий.

— Нам нужен полиция, корош полиция...

— На все готов, господин начальник!

— Карашо, — гитлеровец бросил взгляд на переводчика, стоявшего рядом, и скороговоркой сказал по-немецки: — На всякий случай возьмите его на заметку. Когда понадобится — вызовем.

В приемной переводчик записал Стеньку в книге учета рабочей силы: «Грищенко Григорий Петрович, родился в 1920 году в деревне Бугень. При коммунистах был осужден. Под Киевом перешел на сторону германских войск. Направляется на восстановление моста».

Формальности были закончены, Стенько направился к выходу. У двери его остановил полицейский, потребовал показать направление на работу. Дмитрий показал.

Во дворе он снова увидел того хмурого старичка, вместе с которым стоял в очереди.

— Будем, значит, восстанавливать мост, отец?

Мне господин начальник обещал пятьдесят марок в день. Неплохо, а?

— Неплохо, неплохо, — поддакнул старик.

Потом всех, кто получил работу, выстроили и повели в лагерь.

За три дня Стенько многое узнал: какими силами располагают немцы, как организована система охраны моста и ближайших к нему подступов. Старичок — по фамилии Корбут, — когда они узнали друг друга поближе, оказался не таким уж нелюбимым, как это думалось Дмитрию вначале. Корбут тоже был связан с партизанами и выполнял здесь свое задание. В прошлом, до войны, он находился на советской работе.

Стенько и Корбут договорились помогать друг другу, а если понадобится — действовать сообща.

И вот Стенько снова на бирже труда. Немец, выслушав просьбу Дмитрия перевести его в полицию, доброжелательно улыбнулся:

— Очень карашо! Но мы должны проверить, кто есть ты.

Дмитрий достал из кармана справку, в которой было сказано, что германским воинским частям надлежит «оказывать господину Грищенко помощь». Читая эту справку, немец дважды отрывался от текста и пристально рассматривал Стеньку.

— Вы сам добровольно перешел на сторону доблестный германских войск? — спросил он.

— Так точно, — прицелкнув каблучками, отчеканил Дмитрий.

Гитлеровцу, видимо, понравилась солдатская выправка Стенько.

— Нужно было раньше покажите этот документ, — заметил он. — Вы есть патриот Германии. Вы правильно сделали!

Он переговорил с кем-то по телефону и обратился к Дмитрию с новым и довольно-таки неожиданным вопросом:

— Вы есть шофер?

— Так точно, — не моргнув глазом, ответил Дмитрий. — Служил шофером.

— На каком машин?

— На легковой, господин начальник!

— Карашо, подождит там, — указал он на дверь.

Через полчаса Дмитрия снова позвали в кабинет. Немец, теперь уже через переводчика, снова принялся расспрашивать разведчика, где и когда он, Грищенко, перешел на сторону германских войск, при каких обстоятельствах, кем был до войны, где работал. Получив обстоятельные ответы на все эти вопросы, гитлеровец объявил:

— Нашему коменданту нужен шофер, русский шофер, преданный немцам. Вы согласны?

— Я готов служить шефу! — ответил Дмитрий.

— Зер гут! — одобрительно кивнул гитлеровец.

В кабинет вошел солдат в эсэсовской форме.

— Это денщик нашего коменданта, — сказал переводчик Дмитрию. — Пойдете с ним.

Эсэсовец повел Дмитрия в гараж, расположенный во дворе комендатуры, в самом центре города.

Стенько устроился в грязной и сырой комнате, которая прежде служила мастерской. Впрочем, какое это имело значение: долго в ней жить он не собирался.

Вечером он разыскал на Киевской улице небольшой домик, в котором жил Корбут. Вместе обсудили план дальнейших действий: взорвать мост через Уж, захватить коменданта и уйти в лес, к партизанам.

..Из подъезда комендатуры вышел высокий немец с удлиненным лицом и тяжелой челюстью. На правой щеке у него был глубокий шрам.

— Шофер? — спросил он Дмитрия.

— Так точно, господин комендант! — отчеканил Стенько.

— Карош шофер?

— Хороший, господин комендант. Водил легковую машину, — ответил Дмитрий.

— А этот машин знает? — гитлеровец указал пальцем на новенький «вандерер».

— Да, господин комендант, знаю.

Плюхнувшись на заднее сиденье и приказав денщику сесть рядом с Дмитрием, майор приказал ехать. Стенько завел мотор и от волнения резче, чем следовало, нажал на педаль.

— Свинья! — заорал немец.

Денщик вытолкнул Стеньку из машины и приказал часовому отвести его в подвал. Дмитрий и сам ругал себя за этот промах.

Когда, отбыв наказание, он вышел из подвала, денщик коменданта сообщил ему, что шофером отныне будет солдат-эсэсовец, а Стенько должен помогать ему. Приблизительно в это же время в город прибыла большая колон-



на военных машин. Стенько удалось выяснить, что это передовые части словацкой дивизии, которую немецкое командование перебрасывало на подавление партизан.

В доме Корбута поселили двух словаков, Стефана и Яна. Корбут довольно быстро подружился с ними. Они оказались простыми веселыми парнями. Однажды за бутылкой самогона оба признались, что ненавидят немцев и, если бы только представился случай, они не задумываясь перешли бы на сторону партизан. Оказывается, уже были случаи, когда словаки переходили к партизанам. Поэтому немцы, хотя и используют солдат-словаков для несения караульной службы, но не очень-то им доверяют.

8 После такого признания Корбута и Дмитрию Стенько не составило большого труда привлечь Стефана и Яна к своей работе.

Работали они шоферами и часто выезжали в Овруч и Мозырь. Возвращаясь из поездок, рассказывали о ходе восстановительных работ на железной дороге Коростень — Мозырь, о расположении сторожевых постов.

Поскольку коменданта теперь — после допущенного Дмитрием промаха — захватить не представлялось возможным, Стенько и Корбут задумали взорвать комендатуру. Стефан достал десять килограммов тола. Сделали мину. Из дома Корбута ее переправили в гараж. Стенько должен был установить мину в подвале левого крыла здания комендатуры. На втором этаже находились квартира коменданта и казарма эсэсовцев.

Но тут произошло непредвиденное.

Как раз накануне условленного дня группа молодых подпольщиков пыталась взорвать на железнодорожной станции склад с продовольствием. Ребят постигла неудача: они наткнулись на засаду полицейских. Двое юношей были схвачены, а остальные погибли во время перестрелки.

После этого гитлеровцы усилили охрану комендатуры, выставили дополнительные наряды патрулей. Однако партизаны все же решили действовать, как было намечено. Едва стемнело, Корбут зарядил свой парабеллум, положил в карман две гранаты и направился к условленному месту встречи со Стенько.

...В эту ночь фашисты поставили часового не только у ворот, но и во дворе комендатуры. Взяв кляп и финку, Дмитрий вышел во двор и громко кашлянул.

— Кто там? — крикнул эсэсовец, услышав за спиной кашель, и, увидев Дмитрия, пошел к нему навстречу.

— Я — шофер коменданта, — на ломаном немецком языке представился Стенько. — Сигареты есть?

— Назад! — крикнул часовой и, приблизившись к Дмитрию, направил на него автомат. Стенько неожиданным резким ударом сбил его с ног и сунул в рот кляп. Подбежал Корбут. Вдвоем они втащили гитлеровца в комнату Дмитрия и заперли дверь.

Стенько схватил мину и быстро спустился по лестнице черного хода в подвал. Сдерживая волнение, он установил мину и подпалил зажигалкой бикфордов шнур. Затем выскочил во двор, где его ждал Корбут.

— Бежим!..

Они вылезли через слуховое окно гаража и огородами пробрались к железнодорожному переезду. Там, на Овручском шоссе, ждали их в машине Стефан и Ян. Через некоторое время раздался сильный взрыв. Ян улыбнулся:

— О, то добре, други! Теперь — до лясу! — и включил скорость.

Гвоздь в столе генерала Зейса

В конце июля 1943 года, когда у нас полным ходом шла подготовка к «Рельсовой войне», гитлеровское командование бросило большие карательные силы на подавление полесских партизан. Поступило сообщение о том, что в Мозыре размещился штаб эсэсовской части. После проверки уточняем: да, штаб, но не части, а целой группировки.

Мы дали несколько радиogramм в Москву. Вскоре получили приказ: представить подробные сведения о численности и вооружении этой группировки. Попутно был согласован вопрос о возможном покушении на эсэсовского генерала Зейса, командующего группировкой. На совести этого матерого фашиста было двенадцать тысяч жизней советских людей. Он был организатором многих концлагерей, карательных экспедиций, массовых казней. Но для того, чтобы совершить акт возмездия, нашему человеку нужно было проникнуть в штаб-квартиру Зейса. Задача не из легких: нам было известно, что этот генерал никогда не покидал здания штаба. К нему являлись офицеры, он отдавал приказы, распоряжения, устраивал совещания, но сам не выходил даже на прогулку. Все это осложняло выполнение задачи.

Штаб эсэсовской группировки находился на горе, в двухэтажном каменном здании, окруженном со всех сторон колючей проволокой. Однажды гитлеровцы пригнали сюда жителей города и заставили их вырыть вокруг здания несколько рвов. На расстоянии трехсот метров к зданию никто посторонний не допускался. Соседние дома стояли пустыми, всех жителей из них фашисты выселили без церемоний.

Главную роль в задуманной операции — покушение на фашистского палача — мы поручили комсомолке Марии Чернушевич. Она жила в городе и была нашей связной. Эта неприметная на вид девушка быстро и четко выполняла любые задания, которые мы давали ей до сих пор.

...Мария пробралась в один из пустых домов, стоявших по соседству со штаб-квартирой Зейса, и трое суток просидела на чердаке, наблюдая в бинокль за немецким штабом. Она узнала, когда сменяется караул, где расположены огневые точки, кто входит в штаб, кто выходит. Среди гражданских лиц, допускавшихся в штаб, она приметилась двух женщин, довольно просто одетых. На третий день Мария покинула свой наблюдательный пункт и, подкараулив этих женщин на улице, как бы случайно заговорила с ними:

— Не знаете, где можно достать картошки?

— А ты чья будешь? — спросила одна из женщин.

Мария ответила. Женщина улыbnулась и сказала:

— Я помню твою мать, мы вместе работали в конторе лесосплава. Как она сейчас?

— Дома сидит. Хворает...
Женщина назвалась и, пообещав узнать насчет картошки, попросила Марию передать от нее привет матери. На этом и расстались.

Дома Мария выпросила у матери все, что она знала про эту женщину. Мать вспомнила, что и правда: до войны они вместе работали в конторе уборщиками.

— Ничего деваха была. Что бы ей теперь у немцев делать?

— А может, тоже — уборщицей работает? — предположила Мария.

И тут созревает решение: надо, чтоб мать встретилась с этой женщиной...

Так и оказалось: женщина убирала в штабе. Она предупредила Мариину мать:

— Ты, подружка, никому об этом ни слова!..
Офицер грозился: «Если кому скажешь, что ра-

ботаешь у нас — расстреляем без предупреждения...»

— А ты не попросила бы этого офицера за мою дочку? — робко заикнулась Мариина мать. — Все полегче б жилось... Она у меня аккуратная и работающая.

Женщина сперва наотрез отказалась хлопотать за Марию. Но, поразмыслив, пообещала:

— Там есть фельдфебель один. Ему можно сказать. Но за результат не ручаюсь...

Через два дня женщина сообщила, что Марии велено прийти в штаб.

...Ее провели в небольшую комнату. Фельдфебель на ломаном русском языке приказал:

— Снимать пальто!

Мария сняла пальто.

— Снимать кофта!

Сняла и кофточку.

— Снимать ботинки!..

Фельдфебель оглядел ее еще раз с ног до головы. Затем приказал:

— Иди!

За столом в кабинете, куда привел Марию фельдфебель сидел толстый офицер-эсэовец с заплаканными глазами. Лениво поднял голову, что-то спросил по-немецки у фельдфебеля.

Тот вытянулся в струнку, коротко отчеканил ответ.

Офицер встал, подошел к Марии, потрогал ее за руку, за подбородок, жестом велел открыть рот, осмотрел зубы и вдруг спросил:

— Комсомолкой была?

Фельдфебель перевел вопрос.

— Нет, не была...

— Ну, хорошо... С партизанами связана?

Фельдфебель переводит и записывает ответы Марии.

Разумеется, ни о каких партизанах Мария и понятия не имела.

— Куда вечером ходишь?

— Да куда-то не хожу, мать у меня хворает. Только вот разве днем, купить продуктов.

— А к нам тебя кто прислал?

Мария сказала: женщина знакомая посоветовала зайти.

— Знаете, голодно все же без работы. А здесь, говорят, хорошо платят.

Офицер выругался по-немецки и больше ни о чем не стал спрашивать...

Фельдфебель отвел Марию в первую комнату. Велел одеваться и уходить.

Через три дня, как ей было назначено, минута в минуту, Мария снова явилась в немецкий штаб, и толстый офицер объявил ей:

— Мы тебя берем, но имей в виду: скажешь кому хоть слово, где работаешь, — расстреляем! Никаких посторонних вещей не приносить! Хайль Гитлер!

— Хайль! — повторила Мария.

Так наша разведчица проникла в немецкий штаб. Работает она день, второй, третий. На четвертый через связного сообщает нам, что кабинет генерала Зейса находится в одной из комнат второго этажа. Туда Марии доступа не было. Но помог случай. Однажды она, закончив уборку на своем этаже, сдала фельдфебелю ведро, тряпку, метлу и стала одеваться. И вдруг фельдфебель сказал:

— Имей в виду, фрейлен, завтра ты будешь убирать кабинет шефа. Подготовься, — и пояснил: — Вчера там убирала старая русская свинья. Плохо убрала, оставила пыль. Шеф сделал заме-



чание офицеру. Офицер посадил старую русскую свинью в карцер. Так что учти.

— Хорошо,—ответила Мария,—я постараюсь. Надену самое лучшее платье. Буду убирать, как перед праздником.

— О да! — расплылся фельдфебель, — как перед праздником! Шеф должен быть доволен.

Мария через связного сообщила нам новость, и мы решили: упускать такой случай нельзя!

Подготовили магнитную мину. Часовой механизм настроили так, чтобы он сработал через два часа после установки. По нашим расчетам, двух часов было достаточно, чтобы разведчица могла покинуть штаб.

Ночью мину доставили на окраину города, а оттуда наши городские связные передали ее Марии.

Но как пронести мину в штаб? Мария нашла выход: спрятала мину на груди, а платье надела посободней. Это было самое красивое ее платье. Она сшила его перед войной и почти не носила еще.

Как обычно, явившись в штаб, прошла к фельдфебелю, сняла пальто, кофточку, ботинки, приготовилась к работе.

Вручив ей ведро и тряпку, фельдфебель похвалил ее:

— Какая ты сегодня нарядная!

И погладил ее по руке.

Мария улыбнулась. Трудно ей было улыбаться, но она улыбнулась ему.

Офицер тоже обратил внимание на ее платье. Похвалил и — для острастки — лишний раз предупредил:

— Ты будешь выполнять особое задание. Это большая честь — убирать в кабинете шефа. Чтоб все там блестело! Не то... — офицер показал рукой на потолок: — отправим тебя высоко-высоко!..

— Хорошо, хорошо, я постараюсь, — ответила Мария, а сама подумала: дотронется до груди — все пропало!.. И вдруг слышит:

— Иди!..

Вот и кабинет генерала. Мария приступила к уборке. Стала протирать окна, подоконники. Затем подошла к столу.

СЛЕДОПЫТСКИЕ ДЕЛА

Зимой 1942 года на территории Смоленской области, вблизи станции Издешково, высадился советский воздушный десант. В лесах, за рекой Угрой, воины громили вражеские гарнизоны, позднее участвовали в боях за освобождение Вязьмы.

...Двести юношей и девушек Смоленщины, одетые в форму воздушно-десантных войск, совершили поход по местам боевых действий партизан-десантников, собрали материалы о подвигах советских воинов.

Комсомольские организации городов Поволжья участвовали в большом шлюпочном походе, посвященном пятидесятилетию Ленинского комсомола.

Поход начался в поселке Пено, на родине Героя Советского Союза Лизы Чайкиной. Потом флотилия остановилась у Ржева. Здесь молодежь была на полях сражений, встречалась с ветеранами Великой Отечественной войны. После посещения Всесоюзной ударной комсомольской стройки в городе Конаково следопыты направились в Углич, где пере-

дали эстафету ярославским комсомольцам, продолжившим путь по Волге.

В городах и селах участники похода выступали с лекциями и беседами о героическом пути Ленинского комсомола, давали концерты художественной самодеятельности, проводили соревнования по военно-прикладным видам спорта.

В прошлом году в Красногвардейской средней школе № 14, Артемовского района, Свердловской области открылся музей. Пер-

«Куда же поставить мину?»

Фельдфебель вышел в коридор — такой удобный момент!

Стол в кабинете большой, длинный, накрыт сукном. Среднего ящика нет. Мария протирает под столом пыль и слышит, как в отворенную дверь кабинета кричит фельдфебель:

— Быстро убирать!

Мария подождала, пока он отошел от двери, и вытащила мину. Она уже заметила в тумбе стола, под самой крышечкой, шляпку гвоздя. Приложила к ней мину. С сильно бьющимся сердцем отняла руку... Мина держится!

Вылезла из-под стола, и как раз в это время в кабинет заглянул офицер:

— Шнель, шнель!..

— Я уже заканчиваю, — улыбнулась ему Мария.

Она сдала фельдфебелю тряпку и ведро, оделась и спокойно вышла на улицу. Только у самого своего дома не выдержала, припустила бегом. Захватив узелки, они с матерью поспешили на окраину Мозыря. Там, в условленном месте, их ждали наши разведчики.

Ровно без четверти двенадцать раздался взрыв. Мы его слышали. Но только через месяц нам стал известен результат проделанной Марией работы, когда нам удалось захватить в плен офицера из штаба Зейса.

— О, наш шеф капут! — сказал нам этот офицер. — Наш шеф подскочил под самый потолок вместе со столом. Наш шеф капут, капут!..

«Рельсовая война»

Первого августа 1943 года всех командиров и комиссаров бригад вызвали в штаб Южно-Припятского соединения.

Уполномоченный Полесского подпольного обкома партии А. М. Беленчик сообщил о положении на фронтах, а затем зачитал приказ о начале операции «Рельсовая война».

Ночью подготовились к выходу, а рано утром три отряда и разведроты нашей бригады

двинулись в путь. Предстояло преодолеть около сорока километров тяжелого бездорожья: низкие берега реки Уборть, заросшие густым кустарником, а кругом — топи, болота, мелкие речушки. Впереди шла разведроты Семена Шукаловича, за ней — отряд имени Кутузова. Замыкал колонну Гребеневский отряд.

...Где-то впереди разносится дружное постукивание топоров. Слышен треск падающих деревьев. Партизаны мостят бревнами топь. Однофамильцу комиссара бригады — разведчику Алексею Лину — поручено найти брод через Уборть. Он осторожно входит в холодную воду, исследует дно. За ним цепочкой движутся остальные партизаны, а следом — обоз.

И снова дорога — узкая, лесная, извилистая. Повозки прыгают по корням деревьев, хлещут по лицам ветви. Кроны деревьев образовали здесь сплошную завесу. Словно в сумерках, движутся партизаны все дальше и дальше.

Лесное озеро. Тихая вода, камыши. Желтые корзиночки лилий. Сказочное, сонное царство. Пахнет мхом, сыростью, прелым деревом.

Миновали кладбище с деревянными крестами, недалеко от села Буйновичи, и вышли, наконец, на проселочную дорогу. Телеграфные и телефонные столбы с оборванными проводами. Справа и слева стеной стоит лес. Изредка падаются небольшие поляны.

...В селе Буйновичи не осталось ни одного дома. Все сожжено фашистами. Кое-где высяты уцелевшие печные трубы.

Снова подошли к болоту. Кони едва-едва тащат повозки. Но болото — сегодня последняя преграда. Вечереет. Впереди — деревня Сницкое Поле. Она уцелела. Стоят деревянные крепко сложенные хаты, такие же прочные сараи и добротные заборы. На улице наши разведчики. Пожилой партизан беседует с женщиной. А вон рассказывает Николай Янковец с автоматом через плечо и с балалайкой в руках.

...Начальник штаба Гончаров, обойдя дома, где отдыхали партизаны, и проверив посты, углубился в лес.

— Пропуск! — остановил его голос часового.

СЛЕДОПЫТСКИЕ ДЕЛА

вый отдел его рассказывает о дореволюционном быте жителей этого поселка.

В 1870 году здесь появилась керосиновая лампа, а вместе с ней и специальный настройщик, который заправлял и зажигал лампы во всех домах. Еще раньше, в 1856 году в поселок привезен самовар. Сейчас и лампа, и самовар — экспонаты музея.

В следующем отделе можно увидеть грифельные доски, старые учебники, календари, сведения о том, что в поселке в 1848 году открылась первая школа.

А сколько здесь старинных вышивок, изумительной красоты кружев, искусно сделанной обуви!

Все, кто приходит в музей, могут проследить историю села более чем за сто лет.

Б ОЛЕЕ ста тысяч экскурсантов посетил общественный музей боевой славы, созданный в 1966 году юными следопытами Ленинка в Армении. Начало ему положили экспонаты, собранные ребятами в походах. А теперь музей — четыре вмести-

тельные комнаты в переданном следопытам одноэтажном доме. Здесь бывают многочисленные советские туристы, гости из-за рубежа.

Сто пятьдесят походов провели следопыты Ленинка за последние два года. Самым интересным было путешествие по местам боев 89-й Краснознаменной армянской Таманской дивизии. Следопыты привезли сотни тетрадей со списками погибших воинов, адресами найденных могил, записями воспоминаний участников и очевидцев событий. Благодаря неутомимым поискам школь-

Гончаров ответил.

— А, товарищ начальник штаба! — из тьмы выступили двое часовых с автоматами наперевес. — Где же ваша застава? — спросил Гончаров.

Ему показали. В хорошо замаскированном шалаше сидят восемь человек. Горит костер, на рогатках висит котелок с водой.

— Чаек будем пить с пирожными, товарищ начштаба! — под общий смех проговорил никогда не унывавший разведчик Костя Чурилов.

— Все шутишь, Костя, — заметил Гончаров.

— А чего же не шутить? Вот рванем железку — и порядок будет.

За поясом у Чурилова — трофейный пистолет, в руках — кожаная плеть.

Жадно затягиваясь самосадам, он рассказывал товарищам какую-то историю. Гончаров присел возле костра, ему тоже интересно послушать.

— ...Подхожу к селу. Где лесочком, где в рожь войду, ползком пробираюсь. Смотрю — никого. Обошел вокруг — ни души. Что за черт! Решил в хату зайти. Там у нас дочка связаного жила. Помните, товарищ начштаба? — обратился Костя к Гончарову. — И в хате никого. Думаю, неужели немцы всех угнали? Выхожу из хаты, а в дверях передо мной здоровенный такой фриц: «Русь! Партизан!..» Шапка на мне вот эта была, с красной ленточкой. Стоит, как вкопанный. Он на меня смотрит, я — на него. Редкий случай. — Ты, небось, сдрейфил? — смеются партизаны.

— Да у меня пакет был, — улыбнулся разведчик. — Ясно, перепугался. И развернуться неудобно — тесно в сенцах. Он хватил меня за грудь, и вылетели мы оба во двор, а там уж я извернулся да как дам ногой. Упал он и винтовку из рук выпустил. Я бежать, он — за мной. Тогда я вот этим парабеллумом уложил его...

На рассвете мы двинулись дальше в путь, продираясь сквозь густой лес, болота и заросли кустов.

За деревней Кочище разведчики доложили, что они связались с заставой Ельской бригады.

Вдоль железнодорожного полотна — метров на сто в каждую сторону — гитлеровцы вырубив-

ли лес. Партизаны залегли на краю «зоны безопасности». На пересечении железной дороги и шоссе находился дзот. Его необходимо было вывести из строя в первую очередь, и группа разведчиков во главе с Чуриловым поползла вглубь «зоны безопасности»...

Прошло несколько томительных минут. Затяв дыхание, партизаны следили за смельчаками. Наконец, возле дзота начали рваться гранаты. Но, видимо, первые взрывы не причинили дзоту вреда: из его амбразуры застрочил пулемет. Тогда Михаил Роднюк сбоку подполз к самой амбразуре и метнул гранату. Взрыв — и пулемет смолк.

В воздух взвилась зеленая ракета. Это был сигнал. Партизаны бросились к насыпи. У каждого в руках — толовая шапка.

Еще немного — и загремели взрывы. Они смешались с автоматной и пулеметной трескотней.

Приглушенные взрывы доносились справа и слева от нас: это действовали партизаны Ельской и Мозырской бригад. Они одновременно с нами разрушали железнодорожное полотно и мосты. На десятках и сотнях километров вздымались черно-красные кусты взрывов. В течение нескольких минут была полностью выведена из строя железная дорога на участках Мозырь — Мытва — Ельск — Бугутичи — Словечно.

* * *

В ту ночь погиб отважный разведчик Михаил Роднюк...

Осенью 1943 года войска Первого Белорусского фронта подошли к реке Сож. Меня и еще нескольких товарищей радиogramмой срочно вызвали в штаб фронта. И хотя линия фронта была уже почти совсем рядом, нам потребовалось два дня и две ночи, чтобы выйти из вражеского тыла. Штаб размещался в городе Клинцы, Брянской области.

Мы остановились в доме у старушки, матери семерых детей. Ее двое сыновей и дочь воевали, были офицерами. Остальные дети жили здесь же, в Клинцах, но своими семьями.

СЛЕДЫ ПЫЛЬЦЫ И ДЕЛА

ников, многие родственники впервые узнали, где захоронены их близкие.

«Очень тронуты вашим сообщением, — пишут в Ленинанакан родители В. Иванненишвили из Грузии. — Мы уже старики, потеряли единственного сына, который отдал свою жизнь за Родину. И ничего о нем не знали. Теперь мы поедим к нему на могилу.

Спасибо, дети, спасибо! Большое спасибо!»

Сейчас в музее более пяти тысяч экспонатов.

Большой слет участников походов по местам революционной и трудовой славы состоялся в Красноярске. На нем присутствовали следопыты всех городов и районов края, раскинувшегося от Ледовитого океана до монгольской границы.

Туристы краеведческого клуба «Азимут» Белоярской школы № 2 Свердловской области по заданию Баженовской экспедиции прошли по Нейве от Петрокамнска до Алапаевска. Показа-

ли характерные разновидности образцов пород для изучения их физических свойств, обследовали обнажения на реке Нейве, составили богатую коллекцию минералов.

А во время похода по маршруту Белоярка — Тюмень — Тобольск они собрали интересный материал о боевой дивизии Блюхера.

За проделанную работу краеведы Белоярской школы награждены грамотой ЦК ВЛКСМ.

Особенно мне запомнилась ее старшая дочь, Серафима, дородная русская женщина, красивая и не в меру любопытная. Она чаще других детей забегала к матери и всякий раз с явным недоумением разглядывала постояльцев. А вид у нас был довольно-таки странный: ходили мы в гражданской одежде, в шляпах.

Ну, а наши ребята — народ с юмором. На вопросы хозяйкиной дочери отвечают шуточками. А то кто-нибудь возьмет со стены старую гитару, начнет петь романсы!.. Смех и грех! Как буд-то и войны нет.

Серафима решила, что мы — артисты. Как-то она даже обратилась ко мне с вопросом:

— Иван Андреевич, а когда вы будете выступать в нашем городе?

Я, сдерживая улыбку, ответил:

— Скоро, скоро, Серафима!..

А еще через некоторое время Серафима пришла к нам уже с просьбой: пожаловать к ней в гости, на день рождения дочери и не как-нибудь, а в качестве артистов: кто-нибудь споет, сыграет — и будет весело...

— Знаете, за время войны сердце совсем окаменело. А вот услышала я, как ваши ребята читают стихи, поют под гитару — и сразу на душе потеплело, вспомнились мирные дни.

Ну, думаю, сюрприз! Что теперь делать? Как-то не хотелось огорчать Серафиму отказом. Ведь мы хорошо ее понимали: сами истосковались по домашнему теплу.

И вот мы направились в гости. Когда пришли, за столом сидело восемь женщин и один мужчина.

Помню, на столе горела керосиновая лампа. Картошка, посыпанная мелко нарезанным луком, выглядела весьма аппетитно. Да еще с собой мы принесли мясные консервы, хлеб и немного спирту.

Именины вышли что надо! После того, как выпили за именинницу и за победу, Николай Быков взял гитару, прошелся по струнам и с чувством запел русскую песню. Голос у него хотя и не сильный, но лиричный. Даже у нас, разведчиков, на глаза навернулись слезы.

А через три часа на своей квартире нас встретил полковник Белов. Он только что привез приказ. Нашей группе из двенадцати разведчиков предстояло перейти линию фронта в районе небольшого городка Словечно, продвинуться к городу Пинску и провести разведку второго эшелона обороны гитлеровцев.

Хозяйке мы сказали, что едем с концертом во фронтовые части. Трогательным было прощание с доброй старушкой, на какое-то время заменившей нам родную мать...

Ехали всю ночь. По этой же дороге двигались на запад наши войска: танки, орудия, автомашины. Слышен был приглушенный солдатский говор.

Вот и прифронтовая полоса. В штабе полка нас познакомили с обстановкой на участке, выбранном для перехода линии фронта, дали нам проводников — полковых разведчиков. Мы надели маскхалаты. Погрузили на себя радиостанцию, боеприпасы, продукты и с наступлением темноты двинулись в путь.

У нейтральной полосы полковые разведчики желают нам удачи и возвращаются назад. А мы продолжаем свой путь, ползем вперед. Вижу, слева вьется дымок. Послышалась немецкая речь, шарканье ног. Часовые! Один прошел, второй.

Мы тихо лежим, наблюдаем за ними и, выбрав удобный момент, проскальзываем буквально под носом у немцев к ним в тыл...

Немного отдохнули и двинулись дальше. Километров через восемь на рассвете наткнулись на какой-то лагерь. На немцев не похоже. Наши? Но почему они в тылу у немцев? Оказалось, что это один из наших полков, попавший в окружение.

Нахожу командира полка, представляю ему, рассказываю о расположении на участке фронта огневых точек противника, и мы вместе наметаем маршрут, по которому полк может выйти из окружения. Командир полка благодарит нас за эту услугу, и мы прощаемся.

Где-то уже недалеко лагерь Ельской партизанской бригады. Подходим по тропинке к болоту и вдруг слышим окрик:

— Стой! Кто идет?

Мы говорим пароль.

Из кустов нам навстречу выходят партизаны. Ведут нас болотными тропами в штаб бригады. Ее командир, Антон Степанович Мищенко, когда я вошел и представился, посмотрел на меня с явным изумлением:

— Ты же недавно был здесь!

— Ну, и что ж? — смеюсь я. — Был да сплыл. Теперь новое задание.

Я информировал его о положении на фронте, сообщил последние новости.

Через сутки мы двинулись по лесным дорогам и тропинкам под Пинск для выполнения задания. В этом районе, по данным наших разведчиков, происходило скопление войск противника. Я решил обосноваться в Давидгородской партизанской бригаде, которой командовал кадровый военный Сергей Петрович Калинин. Отсюда удобнее всего было посылать разведчиков на задания — место глухое и в то же время было недалеко от района, где предстояло нам действовать.

Калинин раскрыл карту Белоруссии. Обстановка складывалась далеко не веселая. В Давидгород, Пинск, Петриков, Мозырь и окрестные села были стянуты крупные силы эсэсовцев. Готовилась расправа с народными мстителями — операция под кодовым наименованием «Винтер».

Немцы упорно вели разведку. Возглавлял ее подполковник войск СС фон Штраус.

Записка в кулаке

Штраус и его заместитель по агентурной разведке майор СС Гольдке отправились в инспекционную поездку по гарнизонам. На двух катерах, вооруженных спаренными пулеметами, они плыли по Припяти. Солдаты из охраны зорко и беспокойно всматривались в прибрежные кусты. За каждым кустом им чудилось бородастое лицо партизана.

Зато их шеф, подполковник Штраус, находился в отличном расположении духа. Фюрер только что пожаловал ему железный крест за безупречную службу. Когда его катер поравнялся с селением Тарашкевичи, Штраус поднял к глазам бинокль. Как ни активно действует немецкая агентура, как ни подробны донесения разведки о действиях партизан, однако личные наблюдения ничем не заменишь. Штраус хорошо знает это по опыту. Да и оберштурбаннфюрер Дитрих накануне специально предупредил:

— Учтите, господин Штраус, в этом партизанском логове сам черт ногу сломит. Но вам придется докладывать лично генералу...

А что значит докладывать лично генералу — Штраус прекрасно знал...

Солдат из охраны спросил: можно ли сделать остановку. Штраус не разрешил:

— До Пинска — никаких остановок!

В Пинске Штрауса ждали срочные дела.

Когда первый катер приблизился к месту нашей засады, взвилась красная ракета. Из прибрежных кустов грянули винтовочные залпы. Ударил пулемет. Штраус приказал своей охране открыть ответный огонь.

Но его охранники растерялись. Их спаренные пулеметы били то выше — по верхушкам прибрежных кустов, то ниже — по воде.

Первый катер отвернул к противоположному берегу. Второй сбавил ход, и вдруг на его корме сверкнуло пламя, взметнулся столб дыма. Катер начал тонуть. Оставшиеся в живых эсэсовцы прыгали в воду. Сам Штраус на своем катере успел выйти из-под обстрела. Он тут же сообщил в штаб о партизанском налете:

— Держу курс на Пинск...

В Пинске Штрауса и Гольдке встретил капитан Эрхард. Он уже знал о том, что его шеф удостоен высокой награды, и приготовился отметить это событие небольшим банкетом. Но Штраусу было уже не до банкетов. В ответ на поздравления Эрхарда, он в резкой форме ответил:

— Капитан, вы — легкомысленный человек! Будьте добры отставить все торжества и заняться делом.

Побледневший капитан стоял по стойке «смирно». Он был настолько ошеломлен, что не нашелся ничего сказать в свое оправдание.

Об этом инциденте мы узнали от гитлеровского офицера, захваченного нами в плен. Но главное — офицер этот дал нам много ценных сведений военного характера, сообщил номера частей, подробно рассказал о плане «Винтер».

Между тем, от разведчиков поступали сведения о строительстве все новых и новых укреплений в районах Бреста, Пинска, Давид-городка, Турова, Столина.

Как-то под вечер вернулся из разведки Николай Белов и доложил, что в село Дубровка прибыла рота эсэсовцев. Вечером они оцепили село и всех жителей согнали в здание церкви. Вскоре подъехала легковая машина. Из нее вышел Штраус. По его приказу фашисты заперли двери и окна церкви и начали обливать стены бензином...

Калинин поднял по тревоге два отряда, находившихся в непосредственной близости от села. Мои разведчики тоже поспешили на выручку. Еще издали мы увидели багровые языки пламени и черный дым, поднимающийся клубами над селом. Партизаны с ходу завязали бой, броском достигли церкви. Открыли двери, выбили окна. На людях уже горела одежда. Это были дети, старики, старухи...

Уже загорелись и хаты возле церкви. На фо-

не багряного зарева бежит старуха с обожженным лицом. Глаза сумасшедшие. За подол ее юбки держится мальчик лет восьми. Один рукав его рубахи дымится...

Когда наш санитар взял этого мальчика за руку, он заверещал, как котенок.

Старуха замахала руками:

— Не трогайте, милые... Не трогайте!

— Внук?

Старуха ответила что-то невразумительное.

Я приказал старуху и мальчика доставить в партизанский лагерь и там оказать им необходимую помощь.

Гитлеровцев мы отогнали далеко от села и спасли большую часть жителей. Но несколько человек все же сгорело живо: когда рухнула крыша церкви, к месту пожара уже нельзя было подступиться, образовалось сплошное море огня.

Вернувшись в партизанский лагерь, я спросил у нашего доктора о мальчике. Доктор покачал головой:

— Сильные ожоги. Что могли — сделали... Похоже, что он потерял дар речи.

— Где он?

— В землянке у разведчиков.

Спешу туда. На нарах, рядом с мальчиком, сидит Деревенчук. Мальчик озирается вокруг со страхом и не разжимает кулачков. Деревенчук пытается их разжать силой, но едва дотронется до худеньких ручонков — мальчик начинает плакать.

Две недели он не разговаривал. Это было наше общее горе, наша боль. Возвращались ли мы из боя, из разведки ли, — каждый партизан что-нибудь приносил мальчику: кусочек сахара, залежалую конфету. Но больше всех заботился о мальчике Семен Деревенчук. Он отдавал ему всю отцовскую ласку, на какую только был способен.

От старухи, когда она немного пришла в себя, мы узнали, что мальчик этот из другого села, не из Дубровы. Мать его расстреляли гитлеровцы. Когда это случилось, он убежал в лес, почти месяц бродил там, изредка заходил в селения, просил милостыню. Затем попал в Дуброву. Старуха встретила его на улице и приютила.

И вот как-то ночью, когда я, начальник штаба и комиссар бригады находились в землянке, туда вбежал Семен Деревенчук и закричал:

— Ребята! Радость-то какая!

— Ну, что там?

— Да заговорил наш сыночек-то!

Весть эта сразу облетела все землянки. Партизаны оживились, повеселели. Когда мальчик разжал кулачки, в одной руке у него оказалась записка. Я спросил, кто ее написал. Мальчик горько заплакал:

— Это моя мама, когда ее расстреливали... Она мне сказала: беги, Ленька, беги в лес... Я и побегал...

Мальчика мы вскоре зачислили в отряд, и он стал нашим полноправным партизаном-разведчиком.

Рисунки Ю. Ефимова

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ПОЭТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ

БОРИС КАУРОВ



Родник

Весна его затапливает талой
Заржавленной, грязною водой,
А он — такой безропотный и малый,
Сам за себя вступаю в трудный бой,—
Опять блестит подземной чистотой.
Веселым летом — лишь июнь настанет,
Зимой и осенью — в любые дни —
Ты ковшиком иль кружкой зачерпни,
И убедишься: вновь родник хрустелен!
Чем старше я, тем пристальней, признаться,
Гляжу в него и думаю о нем:
Ведь трудно это — вечно оставаться
Незамутненным родником!

Мое село

Падая то круто, то отлого,
То наверх взбираясь тяжело,
Загляделась горная дорога
На мое таежное село.

Я иду с котомкой за плечами,
Набродившись в падах и горах.
С подозрением меня встречают
Мирные собаки во дворах.

Что ж, они, пожалуй, правы в этом:
Я давно в селе своем чужой.
Как уехал в сорок первом летом,
Так и не взрнулся я домой.

Я, от роду-племени крестьянин,
Городское выбрал ремесло.
Только сердце постоянно тянет
В отчий край, в родимое село.

Тянет в эти пасмурные сопки
И на речку Малый Куналей.
Тут я рос, торил хожалки-тропки
В мимолетной юности своей.

Тут однажды, робко силы пробуя,
Сочинил я первые стихи.
И поныне верю: по-особому
Здесь поют в потемках петухи.

По-иному ночью месяц светит,
По-иному даль просветлена.
Много мест хороших есть на свете,
Только в сердце родина одна.

Музыка

У деревьев взбухают мускулы
Под прямою наводкой дня.
Ах, какая буйная музыка
Оглушает в полях меня!

Встал у пульта Апрель Апрелевич
И рукой дирижерской взмахнул.
Зачарованный этой прелестью,
Молча слушаю вешний гул.

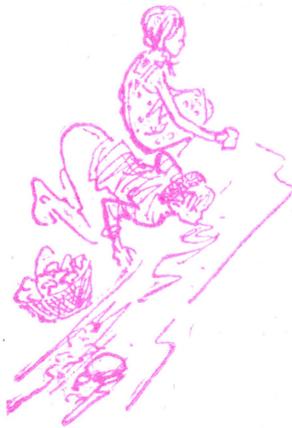
Саксофонами, флейтами, скрипками
День наполнен в разливе своем.
И, подернутый дымкой зыбкою,
Чуть колыхнется окоем.

У дорог, на речных излуцинах —
Голоса, голоса, голоса.
Вся, до каждой травинки, озвучена
Среднерусская полоса.
Барабанным ударом колется
Синий лед.
И весь день напролет
Ошалело звенят за околицей
Колокольчики талых вод.

Весна

В начале марта,
А точней — четвертого
Еще лежало
Много снега черствого.
Была им
Загрунтована, заквашена
Вся жестяная крыша
Дома нашего.

Я рано встал.
 И были мысли — разные.
 А главная —
 О скором женском празднике.
 И я корпел
 Над заданной заранее,
 Над темой
 Социального задания.
 О, как хотелось мне
 В стихах
 Весеннего
 Звнящего капелью
 Озарения!
 Но лезли в голову слова,
 Похожие
 На гвозди
 Равнодушного сапожника.
 Я черный кофе пил
 До одурения,
 Но не было на сердце
 Озарения.
 Меж тем
 Погода выдалась хорошая.
 И снег на крыше,
 Вовремя не сброшенный,
 Растаял,
 Хлынув в трубы водосточные,
 На чердаки
 И в щели потолочные.
 И в комнате моей —
 Надежной, вроде бы,
 Вдруг завела капель
 Свои мелодии.
 Я срочно вызвал
 Техника-смотрителя
 И показал ему рукой:
 Смотрите, мол,
 Какие могут
 Выйти неприятности
 От вашей
 Управдомовской халатности.
 Видать, ответить вам
 На это нечего!
 Взглянул смотритель
 На меня застенчиво.
 И я отпрянул:
 Стройная и рослая,
 Взмахнув своими
 Солнечными косами,



Передо мной была —
 Пусть вам поверится! —
 Сама Весна,
 Сама Весна-волшебница!
 Забыв о том,
 Что дел ее касается,
 Стоял и любовался я
 Красавицей.
 Заглядывал в глаза ее
 Чудесные
 И видел в них
 Бездонности небесные...
 Вот так пришло
 В стихи мои весенние
 Звнящее капелью
 Озарение!

Лето вылилось в август,
 В полосатый арбуз,
 В звонкость яблок и ягод,
 Горьковатых на вкус.
 Сохнет мятное сено.
 И в лугах за рекой —
 Лошадям по колено —
 Встал второй травостой.
 Но заметишь однажды,
 Оглядев небосвод,
 Что не с той уже жаждой
 Воду радуга пьет;
 Что уже над аллеей
 Кружит лист отрывной,
 И закатами тлеет
 Остывающий зной.
 В тине озеро дремлет.
 И не с тех уже круч
 На полдневную землю
 Мчится солнечный луч.
 День замедлил свой топот
 И бредет кое-как,
 Словно всадник,
 С галопа
 Перешедший на шаг.



Г. МЕТЕЛЕВ (Свердловск)

СТИХИ





З Д Р А В С Т В У Й, У Т Р Е Н Н Я Я З Е М Л Я!

Еще шаг — и кончаются бетонные плиты тротуара. Я иду по тундре. Мягко пружинит под ногами земля, усыпанная зелеными пятнами травы. Рядом с тропинкой небольшая, в ширину лопаты, квадратная ямка. В ней поблескивает вода — сок вечной мерзлоты.

Где-то там, в Москве, два часа дня. А здесь полночь. Но полночь летняя, светлая. Одно и то же солнце светит сейчас москвичам, свердловчанам и мне, светит, не затухая в эти июньские дни, всем жителям Анадыря, всей необъятной и удивительной Чукотке.

Я поднимаюсь на крутой каменистый берег широкой и быстрой реки. Отсюда прекрасно виден Анадырь — молодой северный город, холодная даль Берингова моря и горы, бесконечные, почти безлесные горы этой суровой и богатой земли.

Справа, в нескольких десятках миль отсюда, должна быть открытая, как ладонь, бухта и поселок Угольный, слева — залив Креста, уютная бухточка Эгвекинот, дальше — строгая, как неприступная крепость, с отвесными и высокими гранитными берегами бухта Провидения. А там уже рукой подать до Аляски, воспетой и проклятой Джеком Лондоном.

Чукотка. Утренняя земля! Она и в самом деле — утренняя. Потому что настоящая жизнь этой

земли началась совсем недавно, с 30-го года, когда по постановлению ВЦИК был образован Чукотский национальный округ. Именно с этих пор и пошла широкая разведка бесчисленных подземных богатств Чукотки, начался стремительный рост экономики и культуры этой самой восточной территории нашей Родины. Она оказалась богаче и перспективнее Аляски, тоже открытой некогда русскими, да проданной за бесценок Америке...

Новая Чукотка перед моими глазами. Леса новостроек. Корпуса промышленных предприятий. Ленты аэродромов. Океанские суда у причалов и на рейдах. Вертолеты, обслуживающие оленеводов и охотников. И лишь одна деталь тысячелетне неизменна — всюду, даже на людной главной улице Анадыря, и здесь, на каменистом берегу, и в тундре, где пасутся стада или работают геологи, — встречаешь добродушных и сильных чукотских собак, верных помощников человека.

Солнце, не успев и скрыться, вновь поднимается над горными хребтами, золотит горы, серебрит волны. А может быть, горы светятся сами, расплескивая по склонам избыток своих богатств? Может серебрятся не волны, а тысячи тысяч рыбчин, благодатная кета, которая хлынула из океана в устье реки, ведомая могучим инстинктом продолжения жизни...

Л. РУМЯНЦЕВ

Фото Б. Коробейникова





В. НОВИЧЕНКО (Сердоловск)

ТАТАРНИК



„ДЕЛО“ О А. С. ГРИБОЕДОВЕ

Разве не придете вы в восторг, если в ваши руки вдруг попадет, предположим, целое дело на 32 листах с автографами А. С. Грибоедова, декабристов А. И. Одоевского, К. Ф. Рылеева, С. П. Трубецкого, А. А. Бестужева, М. П. Бестужева-Рюмина, С. И. Муравьева-Апостола, С. Г. Волконского, А. П. Барятинского, В. Л. Давыдова, П. И. Пестеля и Е. П. Оболенского?

Может быть, вначале вы растеряетесь, начнете думать — нет ли здесь подвоха, будете листать и перелистывать пожелтевшие, ссохшиеся от времени листы, всматриваясь в строки, написанные разными почерками. Старинная бумага с водяными знаками начала XIX века, печать архива Министерства иностранных дел, сгибы на листах, сложенных некогда в конверты, угасающий текст письма и другие признаки не оставляют сомнения в том, что дело подлинное, представляющее исключительный интерес.

Такое дело поступило недавно в Государственный архив Пермской области с личным фондом П. С. Богословского, из-

вестного уральского филолога и собирателя древних рукописей. На обложке канцелярской скорописью написано:

«Грибоедов, коллежский ассесор, служащий секретарем по дипломатической части при главноуправляющем в Грузии».

Дело это было заведено в феврале 1826 года следственным комитетом, когда Грибоедов, подозреваемый в причастности к тайному обществу декабристов, в суровую стужу на перекладных был доставлен из далекой Грузии в Петербург и посажен под арест.

Оно начинается письмом возмущенного Грибоедова к царю. Письмо, как гласит резолюция начальника главного штаба Дибича, составлено «в недозволительной ритуалом форме». В нем Грибоедов требует объяснения причин ареста и своего освобождения. За письмом следуют анкеты с вопросами комитета и собственноручными ответами декабристов, знавших Грибоедова. Все они отрицали причастность Грибоедова к тайному обществу, хотя историками сейчас доказано, что он был близок к делам декабристов и со многими из них состоял в личной дружбе и переписке, хорошо понимая и полностью разделяя их взгляды.

Следственное дело о Грибоедове — важный исторический документ. Оно известно ученым давно. Известно оно и некоторым краеведам-любителям древностей, которые иногда находят его в... библиотеках разных городов страны.

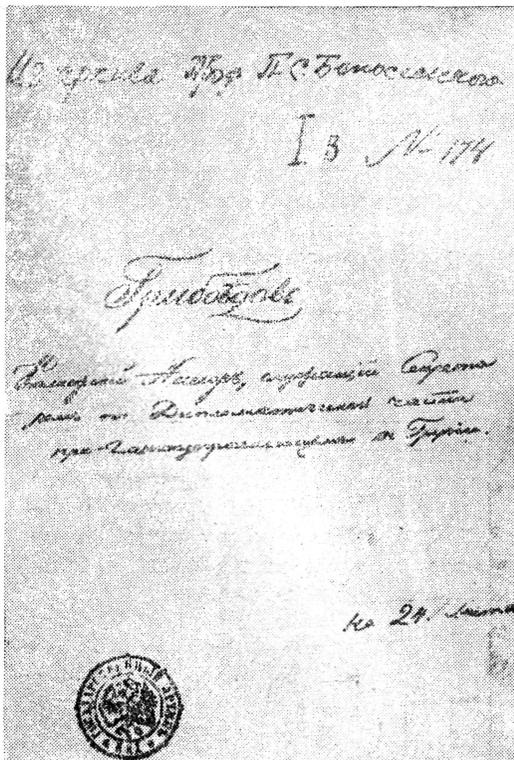
Но почему так много «подлинных» дел? Объясняется это вот чем.

В 1904 году историк П. Е. Щеголев, учитывая возросший интерес передовой русской общественности к истории революционного движения в стране, издал книгу «Грибоедов и декабристы». В качестве приложения к ней было издано факсимильным¹ способом (на довольно высоком для того времени техническом уровне) следственное дело о Грибоедове. При этом удалось воспроизвести все особенности подлинника.

Советский историк М. В. Нечкина в своей монографии «Грибоедов и декабристы», давая подробный анализ грибоедовского дела, сообщает, что подлинник его в настоящее время хранится в Центральном Государственном историческом архиве в Москве.

Но факсимильное оригинальное издание следственного дела о Грибоедове давно стало библиографической редкостью. Один из экземпляров его и поступил в пермский архив.

¹ От латинского *fac simile* — сделай подобное.



Л. С. КАШИХИН



1

Четвертый день лил дождь. У коновязи было топко, и лошади, привязанные к натянутой между деревьями цепи, стояли, понунив головы. А в мокрых палатках, на кучах сырой соломы и всякого невесть откуда взявшегося тряпья, лежали солдаты: кто спал, кто изводил табак из «царской» трубки, кто рассказывал соседу про свое житье и видел, как наяву, дом, в котором осталась семья. Изредка кто-нибудь нехотя вставал, набрасывал на плечи шинель и выбегал по нужде. Было скучно, тоскливо и грязно. И вдруг, как солнце из-за туч,— голос дневального:

— Почтарь приехал!

Рыжий невзрачный мужичок, одетый в грубую военную форму, брел по лужам, тяжело передвигая ноги. Лошадь — в поводу — лениво ступала за ним.

— Почтарь приехал! Почтарь! — в ту же минуту передалось из палатки в палатку, и на воздух стали выползать полусонные люди, согнанные сюда со всей России. Выходили как-то несмело, робко, боясь услышать жесткое и обидное: «Пишут!»

Но поначалу почтарь выкликается фамилии счастливых, выкликается громко, важно, будто у него, у почтаря, генеральский чин.

— Заноза! Получай... Сироткин! Тебе... Довженко! Эй, где ты?!

Приземистый, как пень старого дерева, Довженко нерешительно мялся в стороне, словно прикидывая: шутка это или правда?

За всю свою службу он получил лишь одну посылку, набитую баранками да пачками душистой махорки. Но посылка была не в ящичке, а в холщовом мешочке, и потому баранки превратились в крошки, а махорка рассыпалась и перемешалась с ними. Единственное, что пришло в сохранности,— это большой носовой платок, вышитый по краям цветными буквами: «На верную память неocenимому супругу Михаилу Мокеевичу Довженко от любезной супруги Ефросиньи Павловны».

И вот теперь письмо.

Почтальон протянул ему помятый серый листок, сложенный треугольником, с неразборчиво написанным адресом.

— Только скажи ей, чтоб впредь не возвеличивала, пусть правильно указывает: не командиру, а канониру. Ишь, гусь!..

В ответ поднялся хохот. Довженко быстро сунул письмо в карман и зашагал прочь, чтобы не слышать надоевшие ему дурацкие остроты.

Смеяться он и сам умел. Но не тогда, когда зубоскальство касалось жены, которую он очень любил.

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОНЯТЬ ...

Когда сумка у почтаря совсем опустела, солдаты вновь разбрелись по палаткам. Лишь Довженко остался на дожде. Ходил по лесу и не замечал ни сырости, ни грязи. Словно украдкой, доставал письмо, улыбался, проглаживая его на широкой шершавой ладони, и снова прятал в карман.

— Мишутка нацарапал,— думал Довженко о сыне.— Толковый парень! — И представлял, как тот писал под диктовку его любезной Фроси: наверное, сопел от усердия и слюнявил карандаш на совесть, чтобы буквы выходили жирнее.

Огрубевший, отвыкший от нежности, Довженко проникся такой лаской к жене, что защемило сердце. Захотелось прибавить шаг и идти, идти, не оборачиваясь, напрямик, подалее от чужой, ненужной ему земли, в степь, где все любо, где рядом с ветхой избой дышит прохладой река, где на лугах трава по пояс, которая не скошена без него и пожелтела на корню.

— Возьму вот и вправду уйду, пуцай сами воюют,— тешил себя Довженко. И уже пошел быстрее, но вспомнил: «Пушка-то не чищена!»

— Тьфу, раззява! — он остановился, постоял в нерешительности и, досадуя на свою забывчивость, повернул назад.

В палатке было шумно: солдаты обсуждали домашние новости, говорили о событиях, которые донесли до них газеты, спорили, не стесняясь в выражениях. Довженко расположился на соломе, достал письмо.

— Все враки... Типографии выдумали...

— Как выдумали? Уже Бельгию очистили...

— Четвертый год сказки рассказывают.

— Немцы на наших пленных навоз возят, пашут, а нам все равно...

— Каждый брешет, что ему надо. А мне прямо пишут: вертайся, в Питере революция!

Довженко на секунду закрыл глаза. Самому ему война эта представлялась никому ненужной и попросту глупой шуткой. Сколько рук от дела оторвано! Этим бы рукам землю пахать, а они ее вон что: уродуют! «В Питере революция...» Поди, и в деревне скоро все заново повернется. Эх, там бы теперь быть!

Довженко встрепенулся и стал жадно вчитываться в строчки письма.

Вначале шло родительское благословение. Дальше — поклоны: «Еще кланяется тебе крестный твой Мокей Маркидонович, шлет свои добрые напутствия и низкий поклон Иван Белан. Он вернулся с фронта на костылях и от этого очень мучается. Еще кланяются ваши детки Михаил Михайлович, Антон и младший Иван, шлют вам нижайшие сыновние почтения и просят вашего отцовского благословения на век нерушимый».

На третьей странице, как бы лишне и невзначай, говорилось об обидах. «А невестки твои, братнины жены, мне житья не дают. Работу всю, что ни на есть, на меня кладут, а сами из избы не выйдут. Дразнятся, чего ты с войны денег не шлешь... Вчера приходил урядник со старшиной, недоимку спрашивал 2 рубля 60 копеек, стращают, что надел в общество заберут, как денег не отдашь. А опосля того батенька твой, а мой свекор, Мокей, выпимши были и меня за это самое шибко ногами побил, так что до сих пор под грудью болит и работать нельзя. Мой ненаглядный, любезный супруг Михаил Мокеевич, скорей кончайте воевать и приезжайте домой. Ваша до гроба верная супруга Ефросинья Павловна».

Довженко рассеянно посмотрел на товарищей: они продолжали шуметь, доказывая друг другу правоту. Потом снова начал читать, то и дело останавливаясь, взвешивая каждую фразу.

«А невестки твои...» — дошел он до места, где описывалось житье жены, и отпустил с досадой:

— Язвы их душу!.. Ну, ладно. Все равно уйду! Тут убьют или там осудят — на одно выходит. Прошрое и настоящее, настоящее и будущее — все соединялось незримой нитью. Откуда-то издалека, четко, как в незабытом сне, всплывали очертания улиц, домов, картины то грустные, то забавные. И он улыбнулся даже, когда увидел, как живую, свою непризнанную тещу — старую Хиврю.

Старая Хивря...

Ее хата, опоясанная заросшим садом, лепилась к холму, на самой маковке которого, сверкая золотом куполов, как страж, стояла церковь. В саду — и яблоки, и сливы, сплошная кипень цветов по весне. Там красовалась такая гвоздика, какую не нюхала, пожалуй, сама царица.

А еще у Хиври был огород, с которого она снимала столько овощей, что по

селу ходили слухи, будто Хивря умеет колдовать.

Глаза у Хиври были без блеска, а подбородок выдвигался вперед, как нос у опрокинутой лодки.

Но дочка у нее была — заглядение. Щеки алые, как маки, коса шелковистая, до пола доставала, глаза черные, с поволокой, а зубы белые-белые, ну точно вот сахар. Не было парубка в селе, которого бы она не свела с ума, который не мечтал бы с ней повенчаться.

Особенно сох по Фросе он, Михайло Довженко, тогда еще молодой да стройный хлопец. Правда, она и сама тянулась к нему, но Хивря, старая неусыпная Хивря!..

Михайло каждый вечер прогуливался мимо хаты, опоясанной заросшим садом, но редко когда удавалось ему увидеться с Фросей.

И вот однажды в Пасху...

Час за часом таяла и светлела пасхальная ночь. На рассвете отслужили заутреню, начали освящать принесенную снедь. Фрося стояла среди крестьянок с куличом и с миской, в которой горой были наложены разноцветные яйца. Стояла без Хиври. Та после церковной службы отправилась на кладбище помолиться над покосившимися крестами дорогих ей могил.

— Здравствуй, Фрося!

— Христос воскрес, Михайло!

— А у меня карбованец есть!

— Значит, деньги не будут переводиться, — Фрося лукаво повела бровью и опустила глаза.

— А-а, деньги! Деньги — пустяк: была бы ты у меня!

Он бережно коснулся ее плеча. Фрося ничего не сказала в ответ. Лишь тихо тряхнула косой, поправила белое, вышитое узорами платье и, как намагниченная, потянулась за ним.

— А я тебя ждала!

— Ждала? Это правда, Фрося?

Они не выговаривали, а выдыхали эти непривычные для них слова.

— Но ты долго не подходил ко мне...

— Я любовался тобой...

Они спускались по извилистой узкой тропе, пока Михайло на одном из крутых поворотов не замедлил шаг и не сказал:

— Я увезу тебя!

Она испуганно подняла голову.

— Увезешь? Куда?

— В степь. За тысячи верст отсюда. Там, говорят, раздолье!

— А как же маманя?

Он не знал, что ответить. И теперь они стояли молча. Стояли и разглядывали тропинку, небо.

— Ну, я пойду...

— Зачем же, Фрося? Постоим еще.

Но стоять было некогда: церковь пуста, и поп Богдан вышел на паперть, провожая крестьян.

— О, господи, а святить-то! — Фрося торопливо подняла кулич, миску. — До свидания!

— Счастливо, грешница! — ему было смешно, но он не смеялся, лишь улыбался, взволнованный и озорной: — А дома скажи: кулич святой!..

Он был решительный, тот Михайло. Через месяц, когда с Полтавщины в ковыльные уральские степи потянулись крестьянские семьи, где, по рассказам, лежало столько нетронутой земли, что только паши, не ленясь, он тоже отправился в путь, тайком от Хиври забрав с собой Фросю.

Но не долго растил он хлеб. Всего четыре лета. А на пятый год царь затеял войну, и Михайло стал солдатом.

— Вставай на песни!... Но, но, шевелись! — заорал дежурный, младший фейерверкер.

Когда к голосу фейерверкера присоединился голос фельдфебеля и дневальный тоже закричал: «На песни!», все поняли, что ничего не поможет и надо выходить.

Выходили лениво, с помятыми лицами, ничего не понимая: какие тут еще песни?

Сухой, поджарый штабс-капитан, оглядев шеренги, сообщил солдатам, что неприятель оставил свои позиции и что вот-вот здесь проедет новый командующий армией, а потому должны они встретить его боевой песней.

— ...Запевай! — гаркнул фельдфебель, и Довженко, нахмутив густые брови, затынул:

Черная каша, немытый котел.

Померла девчонка, померла любовь...

Голоса у него не было, но кричал он зычно, громко и, главное, понимал, где нужно гикнуть или свистнуть. Поэтому он и сделался ротным запевалой и пел старательно, вперив перед собой немигающий взгляд.

Ой, люди, ой, люди,
Померла девчонка, померла любовь.
— Веселей!.. Ать, два! Ать, два!

В это время на опушке показалась лошадь командующего. За командующим — свита. Начальство все ближе, ближе, а голос у Довженко что-то хрипит.

— Отставить! — фельдфебель погрозил запевале кулаком и приказал начинать песню заново и с другим припевом. Поэтому вышло:

Черная каша, невытый котел,
Померла девчонка, померла любовь.
Ура, ура, ура!
Идем на врага
За здоровье нашего
Русского царя!..

«Ура, ура, ура! Идем на врага, за здоровье нашего русского царя!», — повторяли за Довженко солдаты с захватским свистом. А спереди и сзади надрылись другие роты:

— Ать-два! Ать-два!..

Расплескались лужи. Месиво. Но сапоги продолжали отбивать встречный марш.

— Здорово, молодцы артиллеристы! — начальство поравнялось со строем.

— Здра... жела... ваше... дит... ство!..

Песня кончилась.

— Разойдись!..

— Есть разойтись! — Довженко повернулся и, не оглядываясь, заторопился навстречу синеющим сумеркам.

2

«От пули зарвавшейся кучки бандитов пал руководитель единственной в уезде сельскохозяйственной коммуны «Сознание» товарищ Довженко Михаил Мокеевич.

Не стало замечательного человека, настоящего коммуниста-ленинца, пламенного борца за Советскую власть, за новую жизнь, идеалы которой он видел в организованной им коммуне. Так спи же спокойно, наш дорогой соратник. Ты еще при жизни своей знал, что дело, за которое боролся, находится в верных руках, и мы обещаем тебе донести его до победного конца.

(Из газеты «Труженик степи» Илекского укома РКП(б) от 28 мая 1922 года).



— Пить!

Дали глоток воды

— Михайло, может, попа привести? Может, думы твои обновилась?

Но он сурово посмотрел на отца, мотнул отяжелевшей головой и еле слышно произнес:

— У меня нет грехов.

Он мучительно умирал от ран. А рядом, у изголовья, стояли его сыновья, Фрося, друзья-коммунары.

— Коммуну не роняйте...

В скорбном молчании над ним склонилась жена. Она и сама знает, какую память оставил о себе ее Михайло. Знает лучше, чем кто-то другой. Каждой женщине — вечный укор, если муж ее или сын в лихие времена испытаний, когда Родине грозит опасность, бросает оружие, оставляя товарищей своих. Но она может гордиться. Михайло всегда посту-

пал так, как подсказывало ему сердце. Не струсил он и не покинул бой, а только сменил поле сражения во имя своей же Родины и своего народа.

...На улице его могли встретить. Поэтому он не стал заходить в село, а спустился к реке. Там снял сапоги, гимнастерку, от которой шел уже тяжелый дух, умылся на живую руку — с тела будто жар согнал.

В ивняке, на охупке сухого хвороста, собранного здесь полой водой, переждал день, выбрался на огороды и в потемках, сперва ползком, затем бегом поднялся к своей хате.

Некоторое время смотрел в освещенное окно. За большим столом молча хлебали тюрю. Лицом к нему сидел отец Мокей, справа — его, Михайла, семья, слева — семья Павла. С углов, которые не были видны ему, к чашке тоже тянулись ложки.

«Не буду стучать», — рассудил он. Осторожно, чтобы не загреметь щекол-

дой, вошел в сени, по памяти нащупал дверную ручку, перешагнул порог, повесил на гвоздь шинель и только потом сказал:

— Здравствуйте!..

Дед Мокей перекрестился. Она же, Фросья, было привстала, хотела вскрикнуть, но, обомлев, опять опустилась на скамейку. Лишь детвора вмиг повыскакивала из-за стола и заплясала вокруг:

— Папка приехал! Папка!

Витьки тогда и в помине не было. Каким в тот вечер был отец, о чем говорил,— он не свидетель. Зато другим сыновьям повезло. Те видели все.

На другой день после своего возвращения, когда опять смеркалось, отец велел Мишке сходить за дядькой Беланом, который хотя прихрамывал, но уже вылечил перебитые на фронте ноги, за дедом Данилой Бойко, вернувшимся недавно из ссылки, за Григорием Эссенем и еще за кем-то.

Потрескивали в печке дрова, шумел самовар, а Мишка разгуливал по улице, гордый, что доверили ему быть здесь и о каждом, кто бы ни шел к их дому, сообщить наперед.

А после, когда никто уже не боялся ругать царя, когда о свободе был слышан даже каждый мальчишка, Мишка, сын Михайлы, видел своего отца на сельской площади. Отец стоял на повозке. Лицо серьезное и торжественное:

— Да здравствует революция!

И площадь отвечала эхом. А над ней крыли плакаты и, как посох, поднималось древко с красным полотнищем.

Двенадцатого февраля девятнадцатого года вдоль Богдановки на сером жеребце промчался посыльный. Он барабанил кнутовищем по ставням и выкрикивал:

— Эй, кто дома? На сход. Довженко со съезда прибыл.

Метель, сугробы — была такая погода, когда не надо иного царства, чем жарко натопленная русская печь. Но одевались, спешили. С одних дворов торопились верховые, с других — пешие. Направлялись в школу. Там, в простуженном морозном классе, не всем хватало места. Толпились в коридоре, вдоль стен, стараясь протиснуться вперед, где за столом, покрытом красным ситцем, с красным бантом на пиджаке, их ждал Довженко. Заметив жену, он весело кивнул ей. Потом окинул взглядом класс



Михайло Довженко

и, убедившись, что пора открывать собрание, почти по-военному отчеканил:

— Здравствуйте, братцы!

— Здравия желаем, Михаил Мокевич!.. С прибытием! — раздались голоса.

Рядом встал председатель сельсовета Мясоед. Для важности кашлянул:

— Наш делегат Довженко сейчас поведет речь о том, что он видел и слышал на губернском съезде Советов.

— Просим! — отозвался кто-то.

Довженко заглянул в записную книжку, затем приступил к рассказу...

Крестьяне не знали всей партии. Они судили о ней по сельской своей ячейке, которая жила и действовала у них на виду. Кругом на сотни верст еще держали власть белоказаки. Отряды шли и шли в Уральск на выручку «войсковому правительству», объявившему войну большевикам. Нередко останавливались в Богдановке. Кормили лошадей, кутили, косили глазом — нет ли подозрительных.

Заехал раз переночевать офицер. Довженко узнал его — когда-то вместе служили,— поздоровался, расспросил от-

куда он и куда, потсм похлопал по кобуре:

— Друг другом, а наган снимай. Мы с вами в различных убеждениях.

А однажды из соседнего села Пока-тиловки на взмыленном коне прискакал Василий Голубь.

— Давай засаду! — потребовал он. — Засаду, говорю! Целая сотня идет.

Подальше от дороги положили в цепь мальчишек-сорванцов. Рядом залегли Иван Короб и Сергей Давиденко. Посмотришь с горы, на белом снегу — настоящая партизанская засада.

Ждали, выставив перед собой обыкновенные палки, переглядывались, пока кто-то не крикнул:

— Едут!

Казаки сидели в седлах, переговаривались, смеялись. И тут навстречу им пошел Довженко. Метров сорок когда осталось, крикнул:

— Стой! Бросай оружие!

Казаки не подчинились, лишь натянули поводья.

— Бросай оружие! — повторил Довженко, размахивая наганом. А в эту секунду Давиденко и Короб выстрелили из дробовиков. Затанцевали лошади. Казаки огляделись и, заметив «засаду», стали нехотя снимать винтовки.

— Так, так, живей! — командовал Довженко. — А теперь — кругом, да забудьте эту дорогу!..

Сперва единицы, потом десятки самых преданных революции людей вступили в партийные ряды, и они не могли не влиять на односельчан.

Весной, когда повеяло тем первобытным запахом земли, из которой родился мир, когда в каждом хлеборобе мысль о пашне заслоняла все остальное, коммунисты бросили клич: «Долой помещика Морозова!»

Морозов вовремя скрылся. Поля его остались. Кому отдать их? Решили — бедным! И сразу прояснилось, кто друг, а кто враг. Будто пелена с глаз пала... Люди тревожно думали: завтра в село придут белогвардейские каратели. Кто защитит от расправы? Сами! Избрали Совет. Создали боевую дружину. Двести человек взяли оружие.

И вот новый сход. Как изменились, как непохожи стали мужики на тех прежних — угрюмых, с бесцветным взором крестьян! Приободрились, подобрели, словно тяжесть сбросили с плеч.

Когда Довженко предложил объединиться в коммуну, чтобы вместе пахать и сеять, чтобы жить как родные братья, они сначала зашумели, не то соглашаясь, не то возражая, потом неожиданно притихли, задумались. Потом стали записываться.

Довженко избрали председателем коммуны.

Всю зиму в Богдановке было спокойно. Разбитые, панически настроенные казачьи отряды, еще бродившие по уральским степям, обходили село стороной. Коммунары очищали зерно, ремонтировали инвентарь, готовились к севу. А только растаял снег, двадцать пять плугов, оставляя за собой черные полосы земли, потянулись по полю. Серебристым блеском играли лемеха.

Работа спорилась. И вдруг — известие: Уральск в осаде.

Вечером райком созвал коммунистов на собрание. Решили идти на помощь. Послали вестовых в соседние села. И вскоре со всей округи стали собираться бойцы, верхом и на подводах, с саблями и винтовками. Ночью шестьсот вооруженных хлебопашцев выехали на защиту осажденного города. Остались в коммуне женщины, старики и дети.

А тут — Морозов. Прибыл с бандитами. Мстить. По списку вызывал. Бил плетью. Истязал. А двоих — Мясоеда и заместителя председателя коммуны Федота Науменко расстреляли в назидание. Сорокатысячную контрибуцию взял с коммунаров.

Те, кто ушел к Уральску, узнали об этом только в июне, когда прорвали белогвардейское кольцо. Вернулись и начали все сызнова. Но теперь уже на новом месте: ушли к Илекским лесам и там, в семи километрах от Ташлы, на зеленом острове, окруженном красавицей речкой, основали село с символическим названием — Коммуна.

Строились, обзаводились хозяйством. В округе не было дружнее семьи, чем их, коммунарская. Им завидовали, с них брали пример.

Но опять объявились бандиты.

Точно смерч ворвались они в Коммуну в то ясное майское утро, рассыпали по улице пулеметную дробь...

С гиком, словно потешаясь, носились по дворам.

— Выходи, большевистская зараза!

У клуба согнали всех в толпу.

— Кто тут главный?
— Главный у нас Довженко, но его нет. Он в отъезде.

— А кто жена его? — попытался безусый бандит, почти мальчишка.

— Ты?... Ты?... — и каждую женщину он бил крест-накрест плеткой.

Ефросинья Павловна вышла вперед. Прижала к груди Витьку, своего двухлетнего сына.

— Я жена, — сказала твердо.

— Десять плеток!

Банда ушла за полчаса до приезда Довженко. Он был в Новосергиевке и оттуда вернулся с обозом. Привезли семенную пшеницу, просо, овес. Как увидел разбой — за голову схватился. Но мешкать не стал.

— Распрягайте лошадей, пойдем вдогонку! — крикнул он мужикам.

А когда солнце опять скатилось за горизонт, окровавленный, он лежал на кровати и наказывал: «Коммуну не роняйте!»

3



«За героический подвиг, проявленный при выполнении боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, присвоить старшему лейтенанту товарищу Довженко Виктору Михайловичу звание Героя Советского Союза».
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года.)

Мама!
Женщина с измученным серым лицом подняла голову. Сон или не сон? На широких плечах пыльная гимнастерка. Русые волосы выбились из-под фуражки. Улыбка на губах. И та же напряженная не по летам морщинка на лбу.

— Здравствуй, мама!

Она продолжала сидеть, потирая усталые руки, не шелохнувшись, смотрела на сына и не верила себе.

— Виктор! Жив?... А Иван? Ты не слышал про Ивана? — Сын молча целовал ей руки, глаза, гладил спутанные седые прядки, успокаивал:

— Не плачь, мама, не надо! Ты знала, что я приду?

— Ждала.

Она огляделась вокруг: неужели и правда у нее сегодня праздник?

...В дыму пожара свходило солнце. Горели дома, рвались снаряды, и где-то на самой окраине спускались с неба парашютисты. Она не прислушивалась к стрельбе, не спрашивала, почему так мечется враг, привычно брела за город к пшеничному полю. В одной руке — кре-

стьянский серп, в другой — кусочек хлеба, бережно завернутый в старый платок. Этот хлеб она заработала у пана. Она поставила ему много снопов, и пан ценил ее усердие: теперь она ежедневно делила с внуком кусочек хлеба, полученный то за ворохи выстиранного белья, то за чистые конюшни, то за убранный жито.

Ей некогда было думать об опасности. Страшнее пули для нее был голод, и она шла, шла напрямик к желтому полю, не оглядываясь, смотрела вперед и останавливалась от неожиданности: навстречу, справа и слева, грозно неслись танки. На башнях — красные звезды. За танками — солдаты. Наши солдаты, наши!

Несколько танков с грохотом промчались рядом.

— Ваня!..

Она рассталась с Иваном в ту кошмарную ночь, когда на Брест обрушились первые бомбы. Только накануне закончилась учеба, и взвод старшего лейтенанта Довженко прибыл в крепость. Утром двадцать второго Иван должен был встречать жену, возвращавшуюся с курорта. И вдруг канонада. Все загудело, задрожало, в открытые окна ворвался горячий ветер.

На рассвете Иван отыскал в тесной коробке подвала сынишку и мать, расцеловал и велел уходить в лес немедленно.

Больше мать его не видела. А часом позже вспыхнул дом, люди выбирались из огня, кричали в панике и не знали, куда идти: кругом были фашисты.

Иван долго зазывал ее в Брест: «Приезжай, хотя бы погостить, посмотреть на внука, на нашу жизнь...» Он и сам обещал нагрянуть в гости, но все не отпускали дела. А она по-прежнему жила в Коммуне. Одна. Старший сын, Михаил, работал секретарем райкома партии, домой заворачивал редко и, если заявлялся, то на часок-другой. Антона призвали в армию, а Виктор учительствовал в Сибири, в деревенской школе. И вот весной сорок первого заскучала, загляделась на дорогу мать и переехала к сыну. А в июне случилось страшное. Три года — фашисты. Чужая речь. Унижение. Страх. Три года в неведении.

— Родной мой! Радость долгожданная!..

Солдат, показавшийся страшно знако-



Герой Советского Союза
Виктор Михайлович Довженко.

мым, поравнялся с ней и заторопился дальше.

Бойцы проходили и проходили. Выстрелы гремели уже на островах, за Муховцом, а мать все всматривалась в обветренные лица, которые блестели на солнце, как темная медь, провожала их взглядом и снова тревожилась:

— А мои-то не идут!

И все-таки повернула в город. У входа в землянку, где жила она с внуком, стояли женщины и двое военных. Она подошла, положила серп, ни на кого не взглянув, присела на завалинку. Потом, как во сне:

— Мама!

Виктор еще утром ворвался в Брест. Когда кончился бой у Холмистых ворот, достал карту: где-то здесь должна быть улица Набережная. Нашел. Но где же дом под номером шесть, в котором жил до войны брат? Дома не было. Осталась лишь одна стена. Стучался в двери, спрашивал, пока не услышал:

— Вам Ефросинью Павловну?.. Как же не знать, она живет напротив!

В землянке пахло мятой, спелыми колосьями ржи. Виктор снял гимнастерку и стал умываться. Потом вместе ужинали. Виктор снова спешил в бой. На прощанье он оставил на столе банку консервов, две плитки шоколада, буханку хлеба и свой адрес.

Через месяц от него стали приходить письма.

«11 августа 1944 г. ...Я и сейчас, только закрою глаза, вижу нашу Коммуну. Вижу каждый пригорок, памятник отцу и дорогу, на которой председатель колхоза Порфирий Никитович Иващенко назвал меня ветерком. Забавно тогда вышло.

Догнал меня по дороге из Ташлы и говорит: «Ну, что, подвезти? Или, может, перегонки попробуем?» — «Давай!» — согласился я. Конечно, лошадь я не обогнал, а Иващенко мне тогда сказал: «Ветерок ты, Витька».

Мама, вы дождитесь меня в Бресте, чтобы вместе поехать в Коммуну. Я буду драться до конца.

Я люблю жизнь и поэтому завтра пойду в бой».

«7 октября 1944 г. Мама, если я буду жив, то мы обязательно встретимся. Но если погибну, то вы получите об этом извещение и мое содержание. Конечно, я не хотел бы ни думать, ни писать о смерти, но война есть война, и она еще не кон-

чилась. А так — знайте, мама, что сыны у вас удались».

«2 ноября 1944 г. Сегодня у нас с вами, мама, большая радость: только что я получил открытку от Ивана. Он жив, сам разыскал меня! Написал совсем немного, лишь о самом главном: воюет, но был, как я понял, в плену, потом бежал, партизанил, пока не добрался до фронта. Я предполагаю, что он где-то недалеко от меня».

«6 января 1945 г. Мама, очень прошу отпраздновать 3 марта — день моего рождения, так как мне, может, и не придется отметить его, а мне ведь исполнится 25 лет. Может, я буду занят важным делом, а поэтому прошу выпить за мое рождение и за то, чтобы я дошагал до Берлина...»

Этим письмам двадцать два года. Мягкие, зачитанные листы. Двадцать два года хранит их Ефросинья Павловна вместе с грамотой Герою и благодарностями Верховного Главнокомандующего: «...за овладение столицей союзной нам Польши городом Варшава — важнейшим стратегическим узлом обороны немцев на реке Висле», «...за овладение городом Шнайдемюль — важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев в восточной части Померании...»

Долго, припоминая подробности, рассказывала мне мать о сыне.

...У Михайла и Ефросиньи Довженко было четверо сыновей. Один из них, Виктор, стал Героем Советского Союза. Другой, Михаил, около тридцати лет отдал партийной работе. Сейчас персональный пенсионер, но продолжает трудиться: он — парторг Илекского Межколхозстроя. Третий, Иван, работает в Сорочинском автохозяйстве. А Антон — председатель колхоза «Пролетарская победа» в Шарлыкском районе.

Все они достойно продолжили дело, за которое боролся отец. И вот уже у самих повзрослели дети, уже третье поколение вступает в жизнь. Какое оно? Об этом рассказывают письма внуков коммунара.

* * *

«Холодно. По утрам морозные узоры на окнах. Блестящий скрипучий снег, отражая солнце, слепит глаза. А вечером «качает, качает, качает задира-ветер фанари над головой». Поднимается ветер. Норд. Теши на тротуарах пляшут и при-

чудливо изламываются. Нелепые фигуры. Паяцы-тени.

Ветер дико хохочет, перебирает своей жесткой лапой провода. «А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб?» Играет ноктюрн. Бросает в лицо пригоршни колючего снега. Стылой рукой лезет под мышки. Но уже близится ночь. И ночью — «все тот же снег, все тот же норд, и лишь тебя не хватает чуть-чуть...»

Так я пишу Наде, моему милому зоотехнику, и маленькой-маленькой дочурке Светланке, которая научилась без меня делать первые шаги. Надя любит, когда я ей рассказываю о погоде. А о чем тебе написать, сестра?

Знаешь, у меня есть бабочка. Живая. Летает. Я нашел ее между рамами, когда дежурил по кухне. Отогрел, подул на нее тихонько, и она стала шевелить лохматыми крылышками, вращать круглыми, как бусинки, глазами, трепыхаться и вообще рваться на улицу. Долго она летала



Антон Михайлович Довженко,
председатель колхоза.

по залу, а я думал, что пришла весна. Захотелось снять сапоги, гимнастерку и идти на рыбалку. Казалось, что соседние мальчишки уже накопили черзей, и мы сейчас спустимся к Уралу. Только вот опять кто-то угнал лодку. Как же без нее? Как переправиться нам на тот берег?

Это все бабочка. Летает и летает. Но я поймал ее, спрятал в спичечный коробок: еще устанет и не сможет больше порхать, а нужно обязательно показать ребятам... Показал. Всем стало весело: февраль, а у нас уже есть бабочка, мы сами сделали себе весну.

Вот так-то, Галя. Только не думай, что у нас тут сплошное развлечение. Лирика — в минуты отдыха, а в остальное время — служба. Суровая армейская служба. Интересно, как ты представляешь ее?

Час назад вернулись с постов ребята. Сняли лыжи, отряхнулись и вместе с облаком тумана ввалились в казарму, стуча по полу ледяными подошвами. Почистили оружие, поужинали и уже спят как убитые. Устали. Сейчас их сменил очередной наряд, а завтра мне идти в караул.

В нескольких километрах от нас граница. Граница — горная, буйная речка. Даже в стужу не замерзает. От мороза она лишь мелеет и становится еще ворчливей: видно, не нравится ей, что из воды, как оскаленные зубы, торчат непокорные камни. Вообще-то их в России, наверное, сотни таких свирепых рек, но эта особенная — пограничная. На том берегу начинается чужая страна. Там другой мир, другие люди. И потому стоят наши парни всегда начеку. Стоят зимой и летом, в пургу и в зной. А мы, танкисты, как второй заслон. Кстати, ты можешь меня поздравить. С сержантским званием и с пятой по счету благодарностью.

О чем еще написать тебе? О том, что давно был отбой, а я все сижу в ленокнате и явно нарушаю распорядок? Хотя нет, здесь я не один. Рядом со мной не спит товарищ. Рисует акварелью. Водит по ватману кистью, а для вдохновения включил транзистор... Ансамбль электромузыкальных инструментов. Космическая музыка. Нота, как серебряная нить.

...Прочти Андрея Платонова «В прекрасном и яростном мире». О, если ты хочешь понять, откуда в советском человеке столько бескорыстного мужества и благородства, — читай Платонова. Необыкновенный писатель!..

Галя, у меня к тебе такая просьба; пожалуйста, собери все газетные вырезки о дяде Вите и о нашем дедке. Меня просят здесь рассказать о них. Я пообещал. Но хочется полнее. И о Викторе Михайловиче, и о дедушке. Так что вырезки — за тобой. Договорились? Ну, вот и отлично. Теперь я могу сказать только одно: «Спокойной ночи, сестра!»

* * *

«...Хочу настроить тебя на разговор. Понимаешь, Виктор, мне всю жизнь проочили, что я буду учительницей. Как наша Валентина — учительницей. Говорили так и дома, и в школе, а я взяла да поступила в сельхозинститут, потому что «красота — это пересоздание и устройство дикой природы руками и гением человека». Насчет гения я, конечно, молчу, а вот стать хорошим агрономом хочется. Хочется покорять непокоренное. И это желание пробудило во мне жадность; взять от института все, что у него есть, все, что возможно. Но есть ли у меня шансы на это, если я буду продолжать учиться заочно? Заочно да плюс без повседневной практики? Во всяком случае, скоро моя вторая сессия, а я опять трепещу, как простыня на ветру. Боюсь экзаменов. А боязнь всегда была признаком неуверенности. Такое чувство, что я чего-то не знаю, или знаю, но гораздо меньше, чем надо бы. Может, мне перейти на очное отделение? Там всегда под рукой необходимая литература, всегда рядом преподаватели и есть НСО — научное студенческое общество. Словом, нужен твой совет.

Теперь о последних событиях. Недавно был у нас с визитом твой отец. Столько лет не навещал, все ссылался на занятость, а тут на пенсию вышел — решил поведать. Привез полный чемодан подарков. Сперва раздавал и приговаривал: «Это от меня... И это от меня». А потом достал увесистый узелок, как дед-мороз пршелся с ним по комнате, развязал и, на удивление детворы, на столе выросла гора конфет, печенья, пирожков, ватрушек. «А это, сказал, прислала бабушка Фрося».

Чудак он у тебя, Виктор. «Я, говорит, не гостить приехал, а проверить, как вы тут колхозом управляете. Как пенсионер, говорит, я имею право задавать вам любые вопросы». Правда, в первый-то день ему, наверное, скучно показалось. У нас

как раз посевная шла, горячка, и с папой разговор у него состоялся лишь ночью: тот поздно вернулся с поля. Но зато на другой день и наговорился, и насмотрелся вдоволь. Меня в экскурсоводы взял, пошел по селу. «Давай, говорит, показывай».

Ему сразу понравились дома. Аккуратные, веселые, они стоят, словно взявшись за руки. Большинство — покрытые шифером, с неизменным крыльцом, украшенным какой-нибудь витиеватой резьбой.

Затем мы завернули к животноводческим фермам, побывали на электростанции, в мастерских, на строительстве мельницы, детяслей, и он опять всем остался доволен.

После зашли в правление, дядя Миша послушал, как отец мой с людьми говорил. А утром, чуть свет, засобирался наш дядя Миша в путь. Мы переполошились: «Куда? А кто же вопросы задавать будет?» А он ответил: «Что ж, у вас все хорошо — пора ехать, работу себе подыскивать». И уехал.

Они очень похожи, наши отцы. Один у них характер — Довженковский».

* * *

Эти письма — о разном: о себе и о времени, о товарищах и самых близких. Но если внимательней вслушаться в их настрой, то между строками прочтешь и о гражданских убеждениях, и о духовном богатстве и общественной нравственности их авторов.

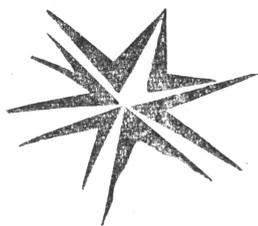
Когда я собирал материал о коммуне, меня постоянно преследовала мысль, что историю революции, историю людей, в чьих сердцах горел огонь и стучала горя-



Один из внуков Михайлы Довженко, Виктор.

чая кровь, чьи глаза видели и, не мигая, встречали смерть, мы должны знать всю. Чтобы вовремя прочесть, какими хотели нас видеть наши деды и отцы. Чтобы не упустить срока стать такими, какими заветали нам быть.

Оренбург





ССЫЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

В ту далекую пору слово «журналист» обозначало должность — писца, ведущего записи в журнале, т. е. в книге регистрации бумаг или событий. Но мы вправе назвать человека, о котором я хочу рассказать, журналистом в современном значении этого слова. И, притом, одним из первых уральских журналистов.

В 1786 году из Тобольска в Пермь был переведен ссыльный солдат и назначен учителем французского языка и рисования в Пермском народном училище. Перевод этот был совершен по просьбе губернатора Перми: подыскать подходящего для обучения детей человека, знающего хорошо французский язык. Таким оказался ссыльный солдат Иван Тревогин.

Но недолго трудился Тревогин на ниве народного образования — в марте 1790 года пермяки его уже похоронили, может быть, даже не зная о том, какой интересной судьбы человека провожают они.

В Центральном госархиве древних актов (ЦГАДА) недавно обнаружено объемистое «Дело о малороссыяине Иване Тревоге, распускавшем о себе в Париже нелепые слухи и за то отданном в солдаты. При том бумаги его, из которых видно, что он хотел основать царство на острове Борнео».

И это дело — целая повесть о замечательном русском человеке.

На допросе в Тайной экспедиции И. Тревогин показал, что он сын иконописца, образование получил в Воспитательном доме при Харьковском народном училище. Попав в столицу, он некоторое время работал корректором в типографии Академии наук. Потом пришлось зарабатывать хлеб уроками рисования и мелкой литературной работой, при знакомстве с которой у него родилась мысль издавать свой журнал. В мае 1782 года в газете «Санкт-Петербургские ведомости» Тре-

вогин и дал об этом объявление. Но журнал существовал недолго. Вскоре неопытный издатель прогорел и, задолжав хозяину типографии 295 рублей, бежал от долговой тюрьмы за границу. Сначала он оказался в Амстердаме, бродяжничал. Потом попал в Лейден, мечтая найти работу в университете. Затем под фамилией француза Ролланда Инфортуна (т. е. Несчастливого) стал матросом военного судна. Служба оказалась очень тяжелой, и он бежал, но был пойман, наказан. Очутившись в Париже, Иван Тревогин явился в русское посольство, рассказал о себе. В Россию его доставили уже как арестанта Тайной экспедиции. В апреле 1783 по Указу Екатерины II Тревогин был заключен на два года в «смирительный дом», хотя был вполне нормальным человеком. Выйдя из «дома», он был направлен солдатом в Тобольск.

В «деле» Тревогина сохранились рукописи молодого писателя. Так, им был составлен проект «Учебной республики», или «Империи знаний», во главе которой должны стать ученые. Проект разработан очень детально. Это говорит о том, что Тревогин знал труды утопистов о «Просвещенной монархии».

Сохранились также часть автобиографической повести, отрывок из незаконченной поэмы «Владимириада», сцены из трагедии «Вадим, бунтовщик Новгородский» и «Ужасный бунт Голкондский». Но эти произведения написаны Иваном Тревогиным до его ареста в 1783 году. Писал ли он в последующие годы? Вероятно, писал. Вполне возможно, что где-нибудь в уральских архивах лежат еще не разысканные труды этого интересного человека. Бесспорно, что Тревогин, в бытность свою учителем в Пермском народном училище, оставил и там какой-то след.

А. КОРОВИН

Чапаевец из Запорожья

Живет в Запорожье бывший стрелок 217-го кавалерийского полка 25-й чапаевской дивизии Михаил Ильич Шаталов. Часто его спрашивают:

— Как же вы, коренной запорожец, попали в чапаевскую дивизию?

А случилось это так.

Родился Михаил Ильич в селе Воскресенка, нынешнего Пологовского района, Запорожской области. Помнит, как

в 1910 году собрались почти все бедняки Воскресенки и поехали на восток искать лучшей доли на вольных землях. Но и в Самарской губернии не наша счастья семья Шаталовых.

В 1919 году Миша Шаталов вместе с другими ушел в чапаевскую дивизию. И началась для него новая боевая жизнь.

Вспоминает Михаил Ильич бой за Николаевск, Бузулук и Белебей.

4 сентября 1919 года был

бой под Лбищенской, в котором погиб легендарный начдив. В этом бою Михаил Шаталов остался без руки и без ноги.

Отремела гражданская война, многие переселенцы вернулись в свое родное село. Не забыли ветераны славной чапаевской дивизии своего командира, и стало называться запорожское степное село Воскресенка Чапаевкой.

М. ШИРЯЕВА

ПОМЕТКИ НА СТАРОЙ КНИГЕ

К 150-летию со дня рождения И. С. Тургенева

Лет двадцать тому назад я ездил по городам и селам в поисках редких книг. И вот однажды под Костромою познакомился со стариком-книголюбом. Он внимательно слушал меня, вглядываясь подслеповатыми глазами. Потом монотонно, нараспев, поведал мне о писателях, уроженцах Костромы: об Александре Николаевиче Плещееве, Юлии Жадовской.

Уходил я от старика вечером, без богатой добычи — на дне дорожного чемодана одиноко лежала старая книжка сочинений Тургенева, подаренная костромичом.

Книга как книга: в добротном коричневом переплете, золото букв не потускнело от времени; только углы корешка размочалились, словно кто-то долго и усердно тер их.

Недавно я вспомнил об этой книге и задумался над ее судьбою.

Это был седьмой том сочинений писателя,

изданный братьями Салаевыми. Тургенев уважал издателя Федора Ивановича Салаева за честность и добропорядочность, не отказывал ему в праве первым издавать свои сочинения.

Первое собрание сочинений писателя издано было Салаевым в 1865 году. Так как все издание быстро раскупили, то Салаев решил повторить его. Тургенев вспоминал:

«Я поселился в Карлсруэ на зиму и намерен усидчиво работать, тем более, что здешнее общество обильных развлечений не представляет; я обещал моему издателю в Москве, Салаеву, доставить отрывки из моих литературных воспоминаний, которые он присовокупит в виде предисловия к новому изданию моих сочинений; обещал это доставить в ноябре, а к февралю едва будет готово! — Вы видите, что мне необходимо нужно стряхнуть мою славянскую лень».

Один из томов этого, второго, издания и был подарен мне костромским книголюбом.

Книга интересна тем, что здесь Тургенев впервые собрал все свои драматические произведения: «Завтрак у предводителя», «Месяц в деревне», «Нахлебник» и другие. Специально для этого тома он написал небольшое предисловие...

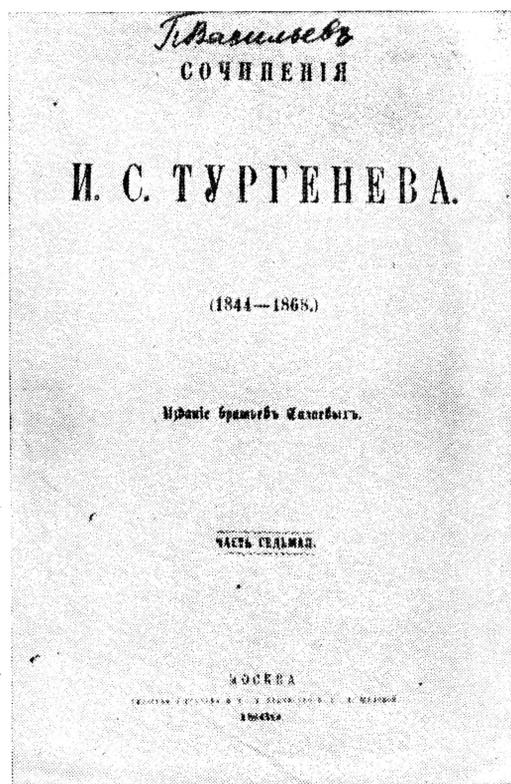
...Я хотел было закрыть переплет, как вдруг обратил внимание на фамилию — П. Васильев. Она была написана сверху на титульном листе, и я до этого как-то не придавал ей значения: ну мало ли Васильевых в России, и что особенного, если один взял да указал на то, что он, а не кто иной хозяин книги. Но вглядевшись в выцветший карандаш, конфигурацию букв, твердый знак на конце фамилии, я понял: владелец книги, пожалуй, был современником писателя.

Фамилия так и осталась бы нераскрытой. Но как-то просматривая письма Тургенева, я обратил внимание на одного из адресатов. Это был казанский библиограф и краевед Петр Петрович Васильев. Сто лет тому назад он выпустил книжку в Казани «Библиографическая заметка о переводе сочинений И. С. Тургенева на иностранные языки»; опубликовал несколько статей о писателе в различных газетах и журналах.

Казанский литератор переписывался с Иваном Сергеевичем. Писатель сообщал ему, какие из его произведений переведены на иностранные языки. В одном из писем Тургенев рассказывал Васильеву о своей поэме «Поп», ходившей в рукописях по всей России.

Не литератор ли из Казани был владельцем тома Тургенева? Это тем более интересно, что на страницах много пометок, замечаний. Но книга, увы, пока ничего не рассказывает о своих бывших владельцах. Не всякая тайна легко раскрывается...

Б. Д. ЧЕЛЫШЕВ





Не так давно мне в руки попала небольшая, пожелтевшая от времени фотография. «Комиссар Стехов прощается с радистом В. Орловым перед отправкой на боевую операцию. Осень 1942 года» — эта надпись на оборотной стороне фотографии сделана рукой Д. Н. Медведева, бывшего командира партизанского отряда, в составе которого действовал отважный разведчик Николай Кузнецов.

А перед этим я был во Львове и Ровно, встречался с боевыми сподвижниками Кузнецова. Один из них, Иван Тарасович Приходько, настоятельно советовал мне разыскать у нас на Урале, в городе Лысьве, бывшего радиста Виктора Орлова, который одно время находился в Ровно вместе с Кузнецовым.

Пересняв редкую фотографию, я через адресный стол послал один отпечаток в Лысьву Виктору Орлову.

Через неделю пришел ответ. Виктор Михайлович писал: «На фотографии действительно я. Запечатлен момент перед отправкой на боевую операцию вместе с батькой Василием [Василием Доменовичем Мазуром]. С чувством глубокого волнения рассматривал присланный вами снимок.

Увидел знакомые лица боевых друзей: Михаила Шевчука, Владимира Ступина и нашу радистку Шуру Мороз. Вспомнил о многом.

До войны я работал мастером в отделе связи Лысьвенского металлургического завода. В июле 1941 года по комсомольской путевке добровольцем ушел на фронт. После специальной подготовки по радиотехнике был зачислен в отдельную мотострелковую бригаду особого назначения, участвовал в битве под Москвой.

В марте 1942 года был направлен на специальные курсы по переподготовке радистов для работы в условиях глубокого тыла врага и попал в отряд полковника Д. Н. Медведева: 22 июня 1942 года вместе с другими партизанами на самолете был заброшен в леса Западной Украины. В этом отряде я находился вплоть до октября 1944 года. Мы, радисты, бесперебойно поддерживали связь с Москвой. Кроме того, для обеспечения связи с отрядом нам нередко приходилось участвовать в рейдах партизанских групп по ликвидации немецких гарнизонов, по уничтожению промышленных объектов и в других операциях».

Виктор Михайлович подробно описывает жизнь в отряде, боевые вылазки, в которых ему



Н. И. Кузнецов.

приходилось участвовать, рассказывает о задуманных беседах у костра и, конечно, о Николае Кузнецове, которого в отряде, в целях конспирации, звали Николаем Васильевичем Грачевым.

В первые месяцы пребывания в тылу врага Кузнецов находился при отряде: усиленно готовился к роли немецкого офицера Пауля Зиберта. В свободное время он часто заходил к радистам. Народ мы были веселый, особенно девчата. Подолгу просиживали у костра за разговорами.

Зимой отряд располагался в лесу возле села Рудне-Бобровское. В лагере построили свою баню. Это был обыкновенный чум из жердей и веток с дырой для выхода дыма. На костре в больших котлах грелась вода. Однажды, как раз в тот момент, когда в бане мылись Кузнецов и радисты, от костра вспыхнули ветки на стенах чума, и баня загорелась. Как на грех, все только что намылились, в таком виде партизанам и пришлось выпрыгивать из чума в снег.

К началу нового 1943 года разведчики отряда прочно обосновались в Ровно. Кузнецов-Зиберт завел обширные знакомства среди немецких офицеров. Началась активная разведывательная работа. Все шло хорошо, но первое время не было оперативной связи с отрядом. Отряд находился на расстоянии 100—120 километров от города, и это создавало большие трудности в доставке разведывательных данных. Срочные материалы запаздывали и теряли свою ценность. Тогда-то командование отряда и решило направ-

вить в город радиста. Первой была командирована Валя Осмолова. Она успешно вела передачи в отряд и даже радировала непосредственно в Москву. Потом ее отозвали для другой работы.

«Хорошо помню,— пишет Виктор Михайлович,— как вызвал меня к себе в штаб Д. Н. Медведев и сказал:

— Товарищ Орлов, вы направляетесь на выполнение особо важного задания, связанного с большим риском, требующего от вас выдержки и спойхствия. Назначаетесь в распоряжение Николая Ивановича Кузнецова. Готовность — немедленно.

Когда я вернулся в чум, другие радисты уже догадывались, что мне предстоит поездка на связь и откровенно завидовали. Каждому хотелось побывать на таком деле. С Лидией Васильевной Шерстневой, нашей старшей радисткой, быстро разработали код и шифр для двухсторонней связи.

Переодетый в форму полицая, с документом, подписанным каким-то комендантом Зурно и заверенным фашистской печатью, которая была изготовлена в отряде, в сопровождении связных Сергея Рощина и Николая Киселева я прибыл на промежуточную базу, или как у нас говорили, на «маяк», находившийся на Кудринских хуторах.

Здесь базировалась группа из 25 партизан. С ними был и Н. И. Кузнецов. Все были рады: прибыл человек из отряда! Начались расспросы о жизни в лагере, о сводках Совинформбюро, положении на фронтах.

Накануне моего приезда небольшой отряд партизан, переодетых в форму полицая, во главе с обер-лейтенантом Паулем Зибертом, осуществил дерзкую операцию. Двигаясь по тракту на фурманках, они подбили две встречные автомашины и захватили видных гитлеровцев, возвращавшихся с секретного совещания из Киева в Ровно. Среди пленных оказались имперский советник связи подполковник Райс и начальник отдела рейхскомиссариата майор граф Гаан.

На «маяке» меня поместили в доме Вацлава Жигадло. Здесь же жили Николай Иванович и другие партизаны — половина группы. Остальные квартировали в другой хате, недалеко от нас. Там были помещены и пленные фашисты. Обе хаты круглосуточно охранялись. Днем партизаны на улицах не показывались. На задания уходили и приходили только на рассвете или поздно вечером, с наступлением темноты.

Взяв с собой рацию, мы с Николаем Ивановичем отправились на допрос пленных. В отдельной комнате я увидел двух немцев. Один из них, черноволосый, с забинтованной головой и рукой на перевязи лежал на топчане. Ноги у него тоже были, видимо, повреждены. Это был майор Гаан.

Второй — подполковник Райс — тучный здоровяк среднего роста, с рыжей шевелюрой и небольшими круглыми, навывкате, глазами, сидел на топчане возле печки. Он отделался легкой контузией.

Кузнецов допрашивал каждого в отдельности. Перед фашистами Николай Иванович появлялся в форме обер-лейтенанта. Когда было жарко, он расстегивал верхние пуговицы кителя. Вел себя спокойно, однако был очень настойчив.

Помню, Райс сидел за столом, перед ним лежали бумага и карандаш. Николай Иванович,

раскашивая по комнате, все время задавал вопросы, заходя то слева, то справа от фашиста. Если Райс по ходу допроса начинал давать ценные сведения, Николай Иванович просто кивал ему на карандаш и бумагу, предлагая записать сказанное, а если он медлил, то Кузнецов сам брал со стола карандаш, подавал в руки фашисту, придвигал ему поближе бумагу и пристально глядялся ему в глаза. Райс не выдерживал и начинал писать.

Гаан первое время вообще не хотел отвечать на вопросы, называя обер-лейтенанта изменником, предателем и т. д.

Но потом и он заговорил.

После каждого допроса Николай Иванович сосредоточенно обдумывал, обобщал материал, переписывал и отдавал мне для шифровки и передачи в отряд. На рации я работал в большой комнатной хате, на глазах у пленных. Допрос продолжался пять дней. Было получено много ценных сведений, а также была расшифрована захваченная в портфеле у Райса топографическая карта, на которой были нанесены все пути сообщения и средства связи гитлеровцев на территории Польши, Украины и Германии. С помощью этой карты было обнаружено местонахождение ставки Гитлера под Винницей, возле села Якушицы.

Все эти сведения были срочно переданы по рации в лагерь, а некоторые — непосредственно в Москву.

При допросе Райса Кузнецов не упустил случая прощупать почву относительно моей будущей работы в городе. Как бы невзначай заикнулся о том, что в Ровно уже заброшены и работают советские радисты. Райс ответил, что этому трудно поверить: ведь у немцев отлично поставлена пеленгационная служба.

Это заявление имперского советника связи оказалось весьма своевременным, поскольку нам с Кузнецовым только еще предстояло отправиться в Ровно.

Через несколько дней из Кудринки выехали сани, покрытые дорогим ковром и запряженные парой гнедых рысаков. В санях чинно восседал немецкий офицер Пауль Зиберт. Рядом с ним в добротных гражданских пальто сидели разведчики Николай Струтинский, Михаил Шевчук, Николай Гнидюк. За кучера, в расшитом украинском колушке-полушубке был Николай Приходько и рядом с ним — я, в форме полица. Наш путь лежал в город Здолбунов — крупный железнодорожный узел, в 12 километрах от Ровно.

Николай Иванович, нарушив молчание, неожиданно спросил у меня:

— Виталий (он иногда называл меня Виталием), а тебе не страшно? Может, и не придется вернуться!

Ну, что я мог ему ответить! Сижу, думаю о том, как лучше связь обеспечить. Это ведь не в лесу, где забросил антенну на высокое дерево и работай себе на здоровье. В городе — совсем другое дело. Ну, ничего, и там как-нибудь приспособимся.

В Здолбунов прибыли на рассвете. Остановились на конспиративной квартире братьев Шмерег. Не распрягая лошадей, выгрузили из саней привезенную для здолбуновских подпольщиков взрывчатку и боеприпасы. Николай Иванович помог мне снять с саней рацию. В это же утро Струтинский и Гнидюк разными дорогами пешком отправились в Ровно. А Приходько и Шев-

чук по заданию Кузнецова поехали в ближайšie села, надеясь обменять сани на хорошую бричку: была весна, в городе на санях уже не проехать.

На квартире Николай Иванович беседовал с прибывшими подпольщиками, а я через окна наблюдал за улицей и докладывал о каждом прохожем. После встреч с партизанами-подпольщиками Кузнецов подготовил радиограмму и отсюда же, из дома братьев Шмерег, я связался по рации с отрядом, и теперь уже наблюдение вел Николай Иванович.

Приходько и Шевчук выполнили задание, вернувшись на бричке, и в ту же ночь мы вчетвером выехали из Здолбунова в Ровно.

На одном из переездов, уже возле самого города, нас остановили жандармские патрули. Николай Иванович первым предъявил свои документы, и мы благополучно проехали контрольный пункт. А ведь под сиденьем в чемоданах у нас находилась рация, везли мы и оружие.

Солдаты, проходя мимо, приветствовали сидевшего в бричке офицера, который также отвечал на их приветствия. На улице Франко кучер повернул во двор дома № 6. Здесь жил его старший брат Иван Тарасович Приходько. Здесь была наша первая и основная явочная квартира разведчиков отряда Медведева. Во дворе мы с Николаем Приходько сразу же принялись вы-



Виктор Орлов.

гружать из брочки увесистые «офицерские» чемоданы.

Квартира находилась на втором этаже, и со двора к ней вела открытая крутая лестница с перилами по одной стороне. Первым стал подниматься Шевчук, за ним — Николай Иванович, а за Николаем Ивановичем — я с чемоданами в руках. И тут едва не стряслась беда: я споткнулся о ступеньку и, пытаясь удержаться, лицом и коленями уткнулся в ступеньки. Лишь чудом я удержался, не загремел вместе с чемоданами вниз. Кузнецов обернулся и на немецком языке зло закричал на меня.

В квартире, помогая мне разбирать чемоданы, Николай Иванович сказал: «Здорово я тебя отчитал, но ничего, так надо было, ведь во дворе нахсдились люди». А я в шутку ему ответил, что за такое не мешало бы меня еще и подзатыльником угостить.

В первый же день я связался по рации с отрядом и передал радиogramму Кузнецова. Позднее из квартиры Приходько мне пришлось провести еще несколько сеансов связи. Потом обстановка в городе резко усложнилась. Начались облавы, тщательная проверка документов на улицах, усилилась патрульная служба на дорогах. Началась проверка документов и по квартирам. В один из вечеров на квартиру Приходько пожаловали проверяющие. В передней комнате их встретил Николай Иванович, предъявил свое удостоверение, любезно поговорил с ними, и все обошлось благополучно. Тем не менее эта проверка в квартире немецкого офицера насторожила Кузнецова: уж не попал ли он под подозрение!

И чтобы сохранить явочную квартиру, Николай Иванович принял решение всей группе разведчиков немедленно покинуть город. На той же брочке все шесть человек поехали на свой «маяк». Дороги были перекрыты и контролировались жандармами, поэтому нам пришлось выбираться по оврагам и какому-то скотскому кладбищу. Эти закоулки были известны только двоим — Струтинскому и Приходько. Так мы добрались до хутора.

Через несколько дней с «маяка» Кузнецов и другие разведчики вновь отправились в город. Я остался на хуторе. Связь между «маяком» и городом поддерживалась через специальных

связных. 22 февраля 1943 года на «маяке» связному Николаю Приходько был вручен секретный пакет командования, который он должен был срочно доставить в город и вручить Кузнецову. По дороге возле села Великий Житень его остановили гитлеровцы. Потребовали документы. Начались расспросы: куда и откуда едет, что везет. Один из жандармов полез в фурманку проверить, что лежит под сеном. Тут Приходько не выдержал, выхватил из-под сена автомат и открыл огонь по фашистам. В неравном бою геройски погиб наш замечательный разведчик. Как только об этом стало известно разведчикам, они вновь покинули Ровно и вернулись на хутор.

На «маяке» был получен приказ — всей группе партизан во главе с Кузнецовым возвратиться в лагерь.

Первого марта 1943 года наша группа покинула Кудринские хутора. На фурманках ехали весь день. К вечеру достигли реки Случь, и на другом ее берегу, в селе Хотынь, на нас неожиданно напали националисты. Завязался бой. С криками «Ура!», «За Родину!», «За Колю Приходько!», партизаны с яростью обрушились на предателей Родины и разгромили их. Во время боя я все время находился возле Николая Ивановича. Он не отпускал меня ни на шаг.

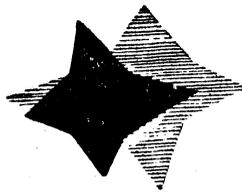
Рано утром второго марта мы прибыли в партизанский лагерь, приведя с собой несколько пленных. Лагерь еще спал. Нас встретили Медведев, Стехов и Лукин. Кузнецов отдал короткий рапорт о прибытии группы, и партизаны стали расходиться по своим подразделениям. Помню, я еще стоял рядом с Кузнецовым, когда Д. Н. Медведев спросил, обращаясь ко мне: «Ну как, все в порядке!» Я немного растерялся и не знал, что ответить. За меня ответил Кузнецов: «Все хорошо».

Потом подошел комиссар С. Т. Стехов и сказал мне: «Иди отдыхай с дороги, а то тебя там радисты не дождутся. Завтра обо всем поговорим».

Так закончилась моя командировка в Ровно, продолжавшаяся около месяца».

Сейчас Виктор Михайлович Орлов, как и до войны, работает мастером на металлургическом заводе в своем родном городе.

И. ТЮФЯКОВ



МИЧМАН СУХОПУТНОГО ОТРЯДА



В течение четырех лет следопыты школы № 10 Челябинска под руководством заслуженного учителя РСФСР Анатолия Ивановича Александрова собирали материалы о Северном летучем отряде, созданном по личному указанию В. И. Ленина. Командовал им мичман Сергей Павлов.

Следопыты исследовали материалы Центрального архива Военно-Морского Флота СССР, музея Великой Октябрьской социалистической революции, Центрального Военно-Морского музея.

Они вели поиски в музеях и архивах Свердловска, Челябинска, Троицка, Бузулука, Оренбурга, записали воспоминания участников похода: И. О. Вострякова, В. Г. Курьянова, жены С. Д. Павлова — Е. И. Павловой, членов Главного штаба отряда И. И. Карпухина и Н. П. Баранова.

Летом 1967 года ребята прошли по пути боев Северного летучего отряда от Челябинска до Троицка и от Бузулука до Оренбурга.

Результатом работы следопытов и явился этот очерк.

Осенью 1917 года центром контрреволюционного казачества на Южном Урале стали Оренбург и станицы Троицкого и Верхне-Уральского уездов. Дутов рассчитывал повести наступление на Челябинск, чтобы отрезать богатые хлебом и сырьем районы Сибири, Урала и Средней Азии от Центральной России.

Рабочие Челябинска, Троицка и Оренбурга послали свои делегации в Петроград.

Петроградский Военно-революционный комитет, Совнарком и лично В. И. Ленин непосредственно занимались организацией борьбы с белоказачьим мятежом. 19 ноября 1917 года в протоколе заседания ВРК записано:

«Слушали делегацию из города Троицка и Челябинска. Казачьи верхи стремятся захватить в свои руки Челябинск, как важнейший железнодорожный узел. Город Троицк и Оренбург в руках казаков. Челябинский Совет просит дать оружие. Постановили: направить в штаб»¹.

¹ Сборник «Документы Великой пролетарской революции», ОГИЗ. Москва, 1938 г., т. 1, стр. 286.

Через несколько дней к Владимиру Ильичу обратилась делегация оренбургских железнодорожников.

26 ноября Ленин на бланке Народного комиссара при Министерстве финансов (молодое Советское правительство только что образовалось и не имело еще своих бланков) пишет:

«В штаб (Подвойскому или Антонову). Податели — товарищи железнодорожники из Оренбурга. Требуется экстренная военная помощь против Дутова. Прошу обсудить и решить практиче-

 **НА ПРИЗ
НАШЕГО ЖУРНАЛА**

ски поскорее. А мне черкните, как решите. Ленин»¹.

30 ноября 1917 года В. А. Антонов-Овсеенко доложил В. И. Ленину:

«Завтра идет первый эшелон в составе балтийских матросов и 17-го Сибирского стрелкового полка»².

В Смольном спешно формировали отряды из красногвардейцев, революционных солдат и моряков. Среди морских офицеров большевиков не было. Потому во главе одного отряда матросов поставили прапорщика Сергея Дмитриевича Павлова. Рекомендовал его член ВРК В. А. Антонов-Овсеенко, пользовавшийся среди моряков большим авторитетом. Только благодаря ему матросы приняли командиром сухопутного «прапора».

Погода стояла сырая, холодная. Шел снег. Солдаты и матросы топтались на месте, чтобы согреться. Павлов и бывший его однополчанин по 17-му Сибирскому стрелковому полку унтер-офицер И. Карпунин повели отряд не через Дворцовую площадь, которая хорошо просматривалась противником, а в обход вдоль набережной Невы к тыльной части Зимнего. Взломав двери, моряки почти без потерь ворвались во дворец.

Уже 27 октября 1917 года отряд по распоряжению ВРК направляется против войск Керенского — Краснова, занявших Гатчину. Сергей Павлов, как единственный офицер-большевик, назначается командующим группой войск Гатчинского направления. Моряки-красногвардейцы, революционные солдаты действовали смело и решительно. Казаки разбиты, Керенский бежал, переодетый в женское платье, Краснов был взят в плен.

Матросы радовались своей победе, гордились смелостью и находчивостью своего командира. Одно плохо: у моряков пехотный командир. Как раз в это время их товарища П. Дыбенко Совет Народных Комиссаров назначил наркомом по морским делам. Матросы к нему.

— Произведи нашего командира в мичмана!

— Да мы же против всяких чинов...

— Это адмиральские да офицерские побоку, а мичман — нашенький.

¹ В. И. Ленин. Сочинения, т. 50, стр. 10.
² Газета «Известия Гельсингфорского Совета» № 214 от 30 ноября 1917 года.



Командиры Северного летучего отряда. В центре мичман С. Павлов.

— Даешь мичмана Павлову!

И появился вот такой приказ.

«Приказ № 1. Народного Комиссара Морского ведомства от 4 ноября 1917 г. г. Гатчина. Прапорщик 176-го запасного пехотного полка Сергей Павлов переводится в морское ведомство тем же чином по адмиралтейству с переименованием в мичмана военного времени. Подписал: Народный комиссар П. Дыбенко»¹.

Матросские отряды возвращались в Гельсингфорс. В «Известиях Гельсингфорского Совета» от 7 ноября 1917 года было написано: «По прибытии в Гельсингфорс отряд славных борцов за свободу был встречен представителями от Исполнительного Комитета Гельсингфорского Совета, областного Комитета и Центробалта с оркестром музыки.

В произнесенных речах ораторы подчеркивали доблесть и героизм отряда матросов, которые, не щадя своей жизни, грудью отстаивали дорогую свободу и счастье человечества в борьбе с преступным Бонапартом Керенским.

Из отряда героев выступил товарищ Протопопов, который ответил на приветствие краткой речью. Он указал на мичмана Павлова как стойкого и храброго борца, который, руководя ими во время боя, ежеминутно рисковал жизнью. Товарища Павлова подхватили на руки и под крики «ура» долго качали.

Товарищ Павлов в своем ответе на приветствие заявил: «Я буду краток. Но я скажу, что вы были истинными героями. Пока мы с вами живы, пока жив Балтийский флот, не умрет революция». Его слова покрываются громким «ура».

А вот что вспоминает П. И. Стрельцов: «Четыре командира рот вместе с командиром красногвардейского тысячного отряда матросов Балтийского флота товарищем Павловым были приняты Владимиром Ильичем.

Владимир Ильич вышел из-за стола, ласково улыбаясь, поздоровался с каждым за руку и пригласил нас сесть. Но мы, военные, памятуя, что находимся в кабинете вождя, не смели садиться, а продолжали стоять «смирно». Владимир Ильич, видя нашу военную подтянутость, еще более заулыбался, повторяя: «садитесь, садитесь, товарищи моряки».

Когда мы расселись, Владимир Ильич, не отходя от нас и глядя нам прямо в глаза, сказал:

— Товарищи моряки! Временно исполняющий обязанности Верховного Главнокомандующего генерал Духонин не желает выполнять решения Советского правительства о прекращении военных действий... Немецкая армия движется на восток, неся угрозу нашей социалистической революции.

На вас, революционные моряки, Советское правительство возлагает задачу: ликвидировать во что бы то ни стало контрреволюционную ставку, арестовать штаб во главе с генералом Духониным и, по возможности, привезти их живыми в Петроград.

С напряженным вниманием слушали мы Владимира Ильича, стараясь не проронить ни одного слова... Когда Ильич закончил, мы встали и в один голос дали товарищу Ленину наше матросское «Есть!»...

Возвратившись в отряд, товарищ Павлов рассказал бойцам-матросам о порученной нам зада-

рищем Лениным боевой операцией — походе отряда эшелонам в город Могилев...

Через несколько часов отряд балтийских матросов эшелонам с двумя паровозами отошел, взяв курс на Могилев¹. Здесь отряд мичмана арестовал Духонина. Но пока Павлов занимал учреждения города, матросы выдали генерала толпе солдат, которые подняли его на штыки.

Отряд вернулся в Петроград. И вот снова встреча Павлова с Лениным. Теперь балтийцы направляются на Урал для ликвидации дутовщины.

Член Главного штаба отряда Н. П. Баранов вспоминает:

«У С. Д. Павлова были моряки-добровольцы Балтийского флота с линейных кораблей «Андрей Первозванный», «Петропавловск», «Севастополь», «Полтава», с крейсеров «Юрик», «Олег», «Богатырь» и миноносцев, — в составе трех рот, в каждой по три взвода. Командирами подразделений были передовые матросы, в основном большевики, прошедшие суровую школу режима царского самодержавия.

Моряки были вооружены трехлинейными винтовками и карабинами. Многие из них имели револьверы и шашки, отобранные во время разоружения контрреволюционного офицерства. В ротах моряков имелось по одному-два пулемета.

Во время выезда из Петрограда обмундирование было флотское — на голове бескозырки, на ногах ботинки. Матросы меняли его в пути. Но бескозырки и тельняшки — сохранили².

В полномочиях отряду от имени Совета Народных Комиссаров представлялось право в городах и населенных пунктах издавать приказы, распоряжения, воззвания, листовки, объявлять военное положение, производить аресты и обыски, устанавливать Советскую власть. В тех местах, где власть находилась в руках большевиков, отряду моряков следовало действовать совместно с ними и оказывать им всемерную помощь. Все излишки продовольствия и промышленных товаров, обнаруженные у частных лиц, приказывалось конфисковать и направлять в Петроград и Москву. Командованию давалось право пользоваться для связи правительственным проводом.

Путь шел через Вологду, Вятку, Пермь, Екатеринбург. Везде отряд помогал местным Советам обезоруживать контрреволюционные банды, выявлять спрятанное продовольствие, наводить в городах и на станции революционный порядок. Только в Вологде и на станции было арестовано более 140 переодетых офицеров, направлено в Петроград 150 вагонов продовольствия и 500 вагонов с различными ценными грузами.

Рано утром 18 декабря 1917 года первые эшелоны отряда прибыли в Челябинск.

Двадцать второго декабря Павлов издал приказ о наступлении на Троицк. Ночь темная, сильный буран, мороз 30 градусов. Двигались без огня. Вдур разведдрезина сошла с рельс. Путь оказался разобраным. Разведка

¹ М. Рублев, О. Егоров. «Сергей Павлов, герой Октября и гражданской войны». Чебоксары, 1963 г., стр. 44—45.

² Из архива Свердловского краеведческого музея.

главного отряда в белых халатах ушла в метель, потянув за собой телефонный провод. Скоро доложили, что находятся недалеко от цепей противника... Дали точное направление и попросили открьть пулеметный и артиллерийский огонь. Казачьи разъезды не выдержали, подняли лошадей и ускакали к опушке леса.

Двинулись дальше, но очень медленно. Буран продолжался. Каждые 100 метров внимательно разведывали и лишь только потом рычком бросались вперед.

Разведка снова донесла, что в версте от станции Полетаево противник создал оборонительную линию, повреждены два наибольших моста, путь, спилены телеграфные столбы.

Четыре часа утра 23 декабря. Мороз усилился, ледяной ветер захватывает дыхание.

Командир приказывает остановить движение эшелона. Созданы четыре группы для захвата станции и поселка Полетаево. Шесть часов. Еще темно. Не унимается метель. Броневик открыл шрапнельный огонь по поселку. С флангов ударили пулеметы. Прожектора осветили оборонительную линию противника, с тыла на станцию ворвалась кавалерия отряда. Батальон матросов и сибиряков поднялся в атаку.

У противника — паника. Конные и пешие казаки бросаются из стороны в сторону, отстреливаются беспорядочно.

Семь часов утра. Станция и поселок Полетаево заняты революционными частями. Шестидесять восемь казаков взяты в плен. Их привели к вагону главного штаба. К строю подошли С. Павлов, П. Ильин, С. Мартынов...

— Братья казаки! — сказал Павлов. — Вас обманули, вас настроили против нас, будто мы ваши враги, будто мы пришли отнять у вас казачью волю. Не верьте этому! Вам лгут, вас обманывают офицеры, кулаки, богатеи. Мы прибыли к трудовому оренбургскому казачеству от правительства Советской власти только для помощи. Ваша судьба в ваших собственных руках... В Оренбурге Дутов арестовал революционный Совет, разоружил оренбургский гарнизон, многих казнил, расстрелял. Революционные матросы и солдаты Северного фронта ваши братья по фронту. Они пришли на Урал, чтобы положить конец восстанию против трудового народа. Только от вас зависит, будет ли дальше литься братская кровь. Мы даем вам полную свободу. Поезжайте в свои станицы, расскажите всем правду о том, что с вами случилось. Павлов кончил. Все молчали.

— Ну, братья казаки! — заторопил их Павлов, — разъезжайтесь по домам, передайте привет вашим семьям, станичникам. Счастливого пути! А вот господ офицеров мы пока возьмем с собой.

Матросы и солдаты любили Сергея Дмитриевича Павлова. Бывший командир пулеметной роты морского отряда старший унтер-офицер Иван Онуфриевич Востряков вспоминает:

«Сергей Дмитриевич Павлов, блондин, среднего роста, носил темно-синий морской китель. Мне он казался очень красивым. Живой, вежливый, любил справедливость и честность. Своим солдатам и матросам доверял, был прост с членами отряда, требовал строгой дисциплины. Помню, приняли в отряд одного добровольца, а он во время обыска занялся хищениями. У него обнаружили золотое кольцо и браслет.

Сергей Дмитриевич вышел из себя. Я его до этого таким не видел.

— Ты опозорил весь наш отряд, — заявил он мародеру. Этого грабителя тут же расстреляли по постановлению общего собрания.

Мы, молодые командиры, завидовали С. Д. Павлову, его умению командовать, его военной находчивости, его военной выправке, исключительной смелости и наблюдательности. Помню, как во время разоружения одного из эшелонов никто как Сергей Дмитриевич обнаружил под вагоном сбитые из досок тайники, в которых были винтовки и разобранные пулеметы. В бою он часто был то с нами, пулеметчиками, то в цепи наступающих матросов.

Это действительно был герой, которого мы все уважали и любили...»¹.

У станции Еманжелинская передовые части моряков вступили в бой с группой казаков хорунжего Болотова. Под прикрытием артиллерийского огня бросились в атаку. Шли в полный рост: «Это есть наш последний и решительный бой!» Станция и станца были освобождены.

В два часа 24 декабря командир головного отряда П. Ильин доложил, что в 10—12 верстах от Нижне-Увельской обнаружена вражеская оборонительная линия.

Павлов дает приказ выделить две сильные группы для флангового обхода. На санях перевозят пушки. Под ураганным огнем врага солдаты восстановительного поезда ведут укладку разрушенного пути прямо к окопам противника. Засветили прожектора, прорывая белую мглу. Наша артиллерия била то шрапнелью, то дальнбойными. Цепи главных сил двинулись вперед. Сначала ползли, потом бежали, пригнувшись. Матросы сбросили полушубки, шли с песней, в распахнутых бушлатах. Передовые цепи ворвались в траншеи, по флангам ударила конница.

Противник оставил первую линию обороны, но оказывается, на этой же версте у него была вторая, а за ней — эшелоны теплушек и классные штабные вагоны.

Но и вторая линия не спасла. Переходя в ру-

¹ Все выдержки из документов и воспоминаний, не оговоренные в специальных сносках, взяты из фондов краеведческого музея школы № 10 г. Челябинска.



Женя Чернышев записывает воспоминания А. А. Аксентовой.

копашные схватки, революционные матросы и солдаты не останавливались. Командование казаков бросает в бой свой последний резерв — офицерский батальон. Но наступление летучего отряда неудержимо.

На плечах отступающего противника станция Нижне-Увельская была взята. Противник отступал в эшелонах, почти не оказывая сопротивления.

В четыре часа утра 25 декабря отряд занял станцию Троицк. В 9 часов на вокзальной площади митинг. Вывешены красные флаги.

27 декабря разговор С. Павлова по прямому проводу с Петроградом, с В. А. Антоновым-Овсеенко. Передав отряду личную благодарность В. И. Ленина, В. А. Антонов-Овсеенко приказал: 17-й Сибирский стрелковый полк оставить в Троицке для полной ликвидации дутовщины в Троицком, Кустанайском и Верхне-Уральском уездах. Морской отряд во главе с Павловым через Самару идет к Бузулуку, куда сейчас стягиваются все силы для освобождения Оренбурга.

Станцию Ново-Сергиевку взяли без боя. Матросы сразу ошеломили казаков своей неустрашимостью. Бывший моряк линкора «Андрей Первозванный» Виктор Григорьевич Курьянов вспоминает: «Дутов говорил своим казакам, что матросы идут в бой пьяные, загипнотизированные. Он требовал от своих войск поимать ему во что бы то ни стало живым «морского крокодила», как он называл нас. Мы были вооружены винтовками разных систем, русского и японского образца. Имелись почти у каждого и револьверы, которые завоевали в боях и отняли при обысках. Били мы дутовские войска врасплох, набегами, своей неустрашимостью, идя на самопожертвование. Мы были воодушевлены победами и верой в свою правоту. Наш отряд пользовался большим авторитетом у трудящихся».

Командир 3-го батальона Иван Иванович Карпухин рассказывает: «Во время боя за 14-ый разъезд противник оказал жестокое сопротивление. В бой вступили главные силы фронта. Вести артиллерийский огонь по зданиям разъезда, где засел противник, было рискованно: шел уличный бой, и можно убить своих. Тогда Павлов дал приказ открыть мортирный огонь по станции Сырт и потом по станции Донецкой. Казаки, услышав разрывы артиллерийских снарядов у себя в тылу, решили, что их уже обошли, срочно погрузились в вагоны и отступили. Ускакала конница. Когда наша артиллерия ударила по станции Сырт, там находился штаб атамана Дутова. Обстрел вызвал у дутовцев панику. Все бежали на станцию Каргалы.

Под станцией Сырт дутовцы получили большое подкрепление, взорвали железнодорожный мост. Местность ровная, видимость хорошая. Степь занесена глубоким снегом. Несмотря на это, наши войска не приостановили наступление. Павлов приказал Златоустовскому рабочему отряду вместе с артиллеристами разобрать пушки и перенести их на руках за 10—12 километров на фланги, в тыл противника. За ночь это было выполнено. На рассвете они открыли ураганный огонь. Казаки в панике отступили.

Дутовцы рассыпались по ближайшим станциям. Всякое сопротивление было прекращено. Из поселков, деревень и станц к советскому командованию являлись одиночки и группы казачьей бедноты, полные желания бороться с Дутовым.



Памятник погибшим в борьбе с дутовцами красным бойцам в Нижней Увелке.

18 января главные силы Оренбургского фронта под командованием Сергея Павлова вступили в Оренбург. Население города высыпало на улицы. На вокзальной площади представители местных революционных организаций от имени трудового населения города приветствовали своих освободителей. В Петроград послана телеграмма: «Петроград. Совет Народных Комиссаров. Народным комиссарам Дыбенко, Подвойскому.

После боя под 17-м разъездом продвинулись вперед и заняли город Оренбург. Вся контрреволюционная банда разбежалась. Произведены аресты главарей восстания. Завтра приступаем к поголовному обыску и по примеру Троицка укрепим положение Советов.

Снаряжаем погоню за дутовщиной. Шлю от имени войск Оренбургского отряда и фронта привет съезду Советов.

Командующий войсками
Оренбургского фронта Павлов»¹.

¹ «Известия» Уральского областного Екатеринбургского Совета № 9 от 21/1 1918 г.

3 февраля по всей стране было передано правительственное сообщение:

«Оренбург занят советскими войсками окончательно. Дутов с горстью приверженцев скрылся. Все правительственные учреждения заняты советскими войсками.

Властью на месте объявлен Оренбургский Совет рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Вл. Ульянов (ЛЕНИН)¹.

А вот что рассказала нам жена Сергея Дмитриевича Павлова Екатерина Ивановна:

«Летом 1918 года Павлова назначили начальником штаба левобережной группы войск 5-й армии, позднее переформированной в 27-ю стрелковую дивизию. Сергей Дмитриевич был ее военным комиссаром. Через год в период широких наступательных операций войск пятой армии под командованием М. Н. Тухачевского Павлов командовал бригадой 35-ой дивизии, во главе которой прошел боевой путь от Урала до Байкала.

Об этом периоде в приказе Реввоенсовета отмечалось: «Награждается орденом Красного Знамени командир 103-й бригады 35-й стрелковой дивизии Павлов Сергей Дмитриевич за то, что при отходе наших войск в октябре 1919 года от г. Петропавловска он проявил личную энергию и умение, удержал с дивизией натиск превосходящих сил противника. Тов. Павлов решительными действиями и умелым маневрированием охватил фланги противника и заставил его поспешно отступить на всем фронте»².

В 1920 году С. Д. Павлову поручается формирование дивизии имени III Интернационала, в которой он был командиром и комиссаром.

В Забайкалье создается Дальневосточная республика. Вместе с членом Дальбюро ЦК РКП(б) Ф. Н. Петровым Павлов участвует в военно-дипломатических переговорах с японским командованием и подписывает от имени Главнокомандующего Народно-Революционной армией ДВР перемирие с японцами.

В это время Сергея Дмитриевича наградили вторым орденом Красного Знамени³.

Для защиты территории ДВР со стороны Приморья создается 2-я Амурская армия, командующий которой назначается С. Д. Павлов, политическим комиссаром — П. П. Постышев.

Война окончена. Сергей Дмитриевич Павлов отзывается с Дальнего Востока и возглавляет войска особого назначения (ЧОН). Позднее служит командиром 1-й Туркестанской стрелковой дивизии, работает инспектором ВУЗов РККА, военруком Комвуза имени Свердлова, главным инспектором Военно-Морской инспекции Народного Комиссара РКК СССР».

Тяжелые ранения сильно подорвали здоровье Сергея Дмитриевича. Он перешел на хозяйственную работу.

В 1966 году бесстрашный мичман Павлов умер в Москве.

¹ Ленинский сборник, XI, 1929 г., стр. 24.

² Приказ Реввоенсовета Республики № 343 от 12/XII 1922 г.

³ Приказ Реввоенсовета Республики № 370 от 21/VII 1920 г.

КАТЕР С МОТОРЧИКОМ

Евгений РЫБНИКОВ

Рассказ

Иван Степанович сразу заметил его среди множества других игрушек. Торпедный катер стоял на красивой упаковочной коробке, поблескивая полированными бортами. Его изящные стремительные линии, от форштевня до маленького пластмассового винта и от киля до клотика, вызывали в воображении чудесную картину морского простора и в нем — летящего по волнам корабля, вот такого же точно, как этот.

Здесь, в краях, далеких от моря, даже игрушечный катер способен был вызвать сожаление о несбывшейся детской мечте, заставляя подумать: «А вот у меня в те годы не было такой игрушки».

Девушка-продавец подала Ивану Степановичу катер и сухо предупредила:

— Не сломайте винт.

Весь катер уместился на широкой, желтой от мозолей ладони покупателя. Иван Степанович заглянул в квадратное окошечко ходовой рубки, с удивлением отметил, что и там, в крошечном пространстве, налажено все так же, как, наверное, у настоящего корабля: и компас, и рулевой штурвал, и приборы.

— А он с моторчиком? — спросил Иван Степанович.

— Да. Работает от батарейки.

— Ну-у! И сколько ж стоит?

— Три пятьдесят и семнадцать копеек за батарейку...

В поезде, возвращаясь в совхоз, Иван Степанович повесил сумку на крючок у окна, а коробку с катером пристроил на коленях. Очень хотелось взглянуть на подарок для сына, но он стеснялся попутчиков. Временами представлял, как обрадуется Колюня его подарку, и тогда усиленно покашливал в кулак, сбивая набегающую улыбку.

На станцию, где сходил Иван Степанович, поезд пришел в чуть наметившемся рассвете.

Темнели перелески, черные проталины на пашнях, стога не вывезенной с осени соломы. Подмороженный ночью мартовский снежок похрустывал от твердой и сильной поступи, в чистом воздухе весеннего утра блуждали запахи горьких осиновых почек и березовой прелости. День обещал быть солнечным, с бурным таянием снега.

Поселок спал. На торопливые шаги Ивана Степановича не взлаяла ни одна собака — весенний сладкий сон и их сморил. У родной избы Иван Степанович остановился. На ширину всей улицы здесь расплылась лужа. Сейчас она была покрыта льдом. Но днем солнце растопит лед. Колюня с восторгом станет пускать по луже свой катер... Не удержавшись, Иван Степанович раскрыл коробку, достал катер. Впечатление от катера на ладони показалось неполным, и Иван Степанович опустил его на лед. И опять остался недоволен — катер скренился на киле, выглядел несолидно. Тогда Иван Степанович быстренько сбегал во двор за лопатой и принялся окалывать лед, выбрасывать его вон из лужи. Скоро в ней остались лишь маленькие льдинки, но, как подумал Иван Степанович, они катеру не смогут помешать. Осторожно нажал он кнопку.



Вспыхнул прожектор на рубке, бешено завертелся винт, и будто по всей улице понесся его ровный шелестящий шум.

Иван Степанович опустил катер на воду, и тот сначала медленно, а потом с нарастающей скоростью полетел через всю лужу к другому ее берегу.

— Эх ты!..

Катер носом резал воду, шел прямо и ровно, оставляя за кормой вспененный след. Когда он ткнулся в берег, Иван Степанович обежал лужу, повернул катер на обратный путь. Так он поворачивал корабль несколько раз и до того увлекся, что не заметил, как из своей избы вышел Костя Ягодкин, сосед. В исподнем, в фуфайке на плечах, галошах на босу ногу, Костя с высокого крыльца приметил Ивана Степановича за странным занятием и, шлепая галошами, направился к нему.

— Э-э, сосед, здорово, добренькое утрище! — крикнул он.

Иван Степанович кивнул в ответ. А Костя уже увидел несущийся по луже катер.

— Вот это корабль, вот это я понимаю! Ты гляди, гляди, Степаныч, как он чешет! Ну, чисто крейсер!

С Костей Ивану Степановичу стало

ловчее, отпала надобность бегать вокруг лужи. Костя с другого берега направлял катер к нему, от возбуждения припрыгивая так, что галоши поминутно слетали с его ног.

— А как думаешь, Степаныч, может он наш пруд переплыть, а?

— Пруд-то? Переплывет свободно. В луже гоняет с полчаса уж!

— А ведь пруд-то по ширине с версту, не меньше...

— Перейдет! — уверенно подтвердил Иван Степанович. — Только ему сейчас энергии не хватит, новую батарейку поставить надо.

— Надо б попробовать, как лед сойдет, — сказал Костя.

Ему же в это хрусткое весеннее утро пришла еще одна мысль: повернуть рулевое перо. Они сделали это, и катер пошел по луже кругами. Гуляющая кошка выглянула из подворотни, заметила на воде что-то движущееся. «Утенок!» — видимо, сообразила она, потому что, прижавшись животом к заснеженной земле, начала подкрадываться к луже. Но вскоре поняла, что никакой это не утенок, и не пахнет утенком, и не желтый он, а огненно-красный... Тогда она мяукнула и скрылась.

Заря к этой поре разыгралась. За древней засветилось золотое небо, его отблески путались в густом переплетении тополиных веток. На дворах загремели подойники.

Даша, жена Ивана Степановича, проснулась оттого, что послышался ей знакомый голос. Не иначе как муж, потому что поезд давно прошел, а с ним должен был приехать и сам. Отдернув занавеску, выглянула Даша в окно и охнула. Посреди улицы ее Ваня, в полушубке нараспашку, в шапке набекрень, гонит лопатой волны по луже, а Костя Ягодкин, тоже осто-лоп здоровый, в кальсонах тут же подпрыгивает и кричит:

— Ого-го! Буря! Шторм!

А по волнам шел красный кораблик. Его кидали, раскачивали волны, его заливало брызгами, но он все шел и шел, упорно не поддаваясь разыгравшейся стихии. Он был прекрасен в своей борьбе, как альбатрос, парящий над ревущим океанским простором.

Рисунок Е. Стерлиговой





СКРИПКА

Рассказ

Геннадий ПАЦИЕНКО

Рисунки Е. Стерлиговой

Смычок, музыкант, скрипка... Я разглядываю эту скульптуру из старого дерева и слышу — рядом тихо переговариваются. Мне хочется, чтобы голоса эти как можно дольше не умолкали:

- Ты улавливаешь что-нибудь?
- Музыку...
- Музыку?
- Ну, дождь. Лесной дождь еще.
- Вот ты сказал: музыка. А... зачем

она?

— Зачем?! Чтобы возвращать человеку силы.

— Возвращать силы,— повторяет в раздумье девушка.— Возвращать силы... А мне кажется, что дрожит летнее марево и где-то играют на скрипке...

Парень тоже думает о своем и начинает негромко рассказывать, как помогал ему зимой старый приемник, когда он разбитым приходил домой после уроков в вечерней школе. Обычно — искал только музыку. Рассеянно слушал, и незаметно проходила усталость.

- А если ты не устал?
- Ну, случается тогда, что музыка и

не трогает,— глуховато басит он.— Хочешь, расскажу тебе один случай?

— Конечно!..

Они идут дальше по залу. Затихают шаги. Стихают голоса. И я уже никогда не узнаю, что это был за случай.

Я знаю другой.

...Есть в дальних даях окруженная кустарником и мелколесьем деревушка Тиховка в одну улицу. Мы, соседних деревень детвора, проходили ее по утрам по дороге в школу. Из своих деревень выходили перед рассветом. В Тиховке присоединялся к ватаге Мишка Зуенок — из деревушки единственный семиклассник. Прокараулит Мишка нас, и бежать ему шесть верст одному морозной темненью.

Часто после ночных поземок мы первыми протапывали на дороге свою снежную тропку. Правда, был, кроме Тиховки, и другой путь, но был он километра на два длиннее и зимой заметался начисто.

Зато в теплое время всех ребят тянуло туда, на бывшую железнодорожную насыпь. Рельсы с нее сняли сразу, как только оскудели леса, и прежний паро-

возный путь стал тихой лесной дорогой. Уже в мае лес по сторонам дороги здесь плотно смыкался — ровно бы вместо ветвей вырастали враз у деревьев руки, и лес на радостях сцеплял их, шумя торжественно и неумолчно.

В один из солнечных майских дней, когда луга и поля уже запестрели цветами, словно детский сад ребятней, — решено было идти из школы домой, минуя Тиховку.

Вместе со всеми пошел и тиховский Мишка. Поначалу, переехав из других мест, он не очень-то пришелся классу своей молчаливостью, но чем быстрее таял снег, тем быстрее менялось отношение класса к Мишке. Умел он делать то, что никому другому в классе не удавалось. Тонкий, напоминавший застигнутый морозом еще не окрепший стебель, Мишка, к примеру, так иногда переплетал ноги, закинув одну за другую, будто свивал их. И тогда всякий, кто видел Мишку, — непременно смеялся с ним вместе.

Но покори́л всех Мишка весной.

Просохшую лесную землю устилали прошлогодние листья. Часть их сгребли мы в небольшую кучу и подожгли на дороге. От лесного дыма вмиг шевельнулись мальчишеский азарт.

Сняв рубашки, принялись мы показывать на теле рубцы и отметины: память о патронах, минах и гранатах, оставленных в свое время в окопах да траншеях, раскиданных по холмам и лесным полянам. Ни одного среди нас не было, у кого не нашлось бы таких отметин. У белобрысого Мишки их оказалось всех больше. На бедре, на ладонях и даже над бровью остались царапины от осколков, и несколько порошинок синело на щеке.

А потом, уже у поворота на Тиховку, стал Мишка рвать на обочине травы и спрашивать у нас их названия. Мы, конечно, ничего толком не знали. А Мишка тараторил и перечислял безумолку: лисий хвост, манжетка, гусятная лапка, будяк, зверобой — как было не позавидовать!

С того дня и повелась за ним слава — знахаря и следопыта. Вскоре нашли мы в лесных полувысохших канавах и ямах несколько щурят. Откуда они взялись — никто не знал. Спросили Зуенка. Сказал, что утки занесли на лапках икру. Что ни день — новое.

Как-то, сдав последний экзамен, мы возвращались с ним из школы вдвоем.

Сильней обычного пахло зеленью. Мишка заметил, что быть дождю. Так и случилось. Дождь застиг в километре от Тиховки. Из-за холмов вытянулась и распласталась над дорогой туча. Хлынул спорый, но не громовой ливень.

С дороги, прямо по засеянному полю, мы побежали с Мишкой к одиноко росшему на холме старому дубу. Без труда пролезли в дупло, выжженное пастухами, и, примостясь поудобнее, устались, как скворцы из гнезда, на струи косо́го ливня. Сквозь них лес, пригорки и поле были расплывчато неопределенны, тонули в водянисто туманной завесе.

Вначале, вслушиваясь в шум ливня, мы сидели молча. Но вот Мишка уловил, что в дупле шумит дождь иначе, шумит так, словно где-то на придорсжье гудит сверху провод. Сказал об этом мне. Сходство казалось поразительно точным, и я вслух подивился, что сам не уловил этого. Откинув со лба волосы, Мишка от моих слов заулыбался, будто от похвалы учительницы.

И рассказал мне вдруг о местах, в которых с матерью жил после войны до переезда в Тиховку.

Оттуда, от прежних тех мест, помнилось ему одно утро, после которого как-то не так пошла Мишкина жизнь. Будто сейчас виделся ему с отчетливой ясностью лесной рассвет, в котором возникла вдруг далекая песня. Когда слова ее стали различимы, взрослые прихватили что могли, и Мишка, опережая их, выскочил на дорогу. На запад шли наши солдаты.

В тот день деревня Мишки вернулась из леса.

На пепелищах взрослые взбивали палками пепел. Их палки напоминали клюки, а сами люди казались очень старыми, безмерно утомленными. Мишка сидел на сваленных у пепелищ котомках и смотрел вокруг. Что взрослые искали, почему так старательно, осторожноковыряли золу — он толком не понимал.

Сожженный их дом был с краю села, и пахло тут костром, недавно залитым водой. Недалеко, в ложине, жалась к дороге кузница. Кирпичная, да еще на отшибе, она почти уцелела. Сгорели только деревянные пристройки и крыша.

Сон валил Мишку. И кузница то уплывала, то, казалось, была совсем рядом. Он уже почти заснул, когда тишину пепелищ потревожили незнакомым ему, непо-

нятным звуком. Точно с ветки сорвалась в воду капля, от которой пошли едва уловимо круги. Или бывает еще: зазвенит в темноте комар — и уже не уснуть.

Почему именно этот звук так насторожил, так вспугнул и встревожил? Кричали ведь, носились над пепелищами птицы, пели рядом, в кустах сирени. С особой отчаянностью щебетали ласточки. Казалось, что прилетели птицы тогда, когда деревня вернулась из леса: с домами сгорели и их гнезда. Но даже тревожно-тоскливое щебетание ласточек казалось Мишке обычным.

А тут какой-то совершенно новый звук.

Встав с котомок, Мишка протер глаза. Сон будто рукой сняло. В стороне, возле кирпичной кузницы, на разбитой снарядом жатке кто-то сидел и играл на... скрипке. Большая взлохмаченная голова клонилась, как у птицы, прикорнувшей после трудного перелета. Человек держал в руках скрипку и водил смычком по ее струнам. Плыли тихие, под стать хмарному дню, звуки. Сперва они действи-

тельно напоминали расходящиеся круги, только не в воде, а как бы в воздухе. Словно поплыла над головнями и пеплом легкая паутина.

Музыка была как огонек, за который боишься, чтобы он не погас от ветра.

Услышав ту скрипку, сдавленно заголосили бабы. Их плач слышался, пока не стемнело, и, засыпая, Мишка уже не мог разобрать — то ли бабы плакали, то ли скрипка играла.

Утром он проснулся от звона молота и сразу побежал к кузне. Пахло углями и горячим железом. Мишка вызвался покачать замусоленную оглоблю горна. Качал, а сам поглядывал на Матвея.

Матвей, пожилой седоватый кузнец, возился с железками. Это он играл вчера на скрипке. Было время, когда без скрипки Матвея ни одно торжество в деревне не обходилось. Жили, понятно, в деревне и еще музыканты, но Матвея уважали особо.

— Дяденька,— произнес Мишка, как только Матвей достал кiset, чтобы передохнуть за сигаркой,— научите играть! Научите?..

Матвей попридержал кiset. Задумался.

— С чего б это ты?— проговорил он.— Впрочем, ладно! Приходи после работы.

От счастья Мишка был на седьмом небе. Ведь Матвей согласился сразу!

«После работы! И каждый день!» — предупредил Матвей, расшевеливая в горне угли.

Вне себя от радости Мишка визжал и, как щенок, вертелся вокруг кузнеца, не зная, что бы такое приятное тому сделать.

Жил Матвей под горой в землянке, без семьи: расстреляли немцы. Скрипку у себя не держал, боясь, что отсыреет. Мишка взглянул на нее, прислоненную в угол, и припустил скорее домой, на свое пепелище. Несся, а в ушах свистел ветер, и слышалась скрипка.

Вторично пришел в кузницу под вечер. Пахло все тем же неостывшим металлом. А Мишке представлялось тепло не от железок — от струн скрипки.

В кузне теперь, кроме Матвея, стоял усатый солдат-артиллерист со скрещенными на петлицах стволиками. Матвей насаживал у наковальни лопату. Солдат топтался, умоляя что-то простить ему.

— Да, браток, подковали мы с тобой



скрипку. Ладно уж...— Матвей примирительно развел руки.— Что делать. Пришлешь новую после победы. А сейчас коней мне веди, перекою — до Берлина докачут! Жаль вот мальчика мне...

Стоя у порога, Мишка недоумевал, почему Матвей не замечает его. И только когда солдат вышел, кузнец кивнул обреченно в угол: «Нет у нас с тобой скрипки».

Мишка взглянул туда. Скрипка лежала высыпанной из матерчатого чехла грудкой, словно бы ее грудь проломила большая окованная нога. Рядом с полованной скрипкой валялась увесистая связка подков.

— Солдат невзначай бросил. Прямо в нее угодил. Эх, мать те...— выругался Матвей.— Ведь не знал, что в углу она... Не знал, понимаешь!

И, больше уже не заговаривая, принялся расплющивать под нож железку. И уже не теплом, стынью пахла в тот раз для Мишки железка.

От кузницы теперь он едва волочил ноги. Забрел, забился в бурьян и долго сидел там, бездумно отламывая и жуя ветки полыни. С того дня перестал ходить в кузницу.

Умолк Мишка, кончил рассказ.

За разговорами незаметно опал летний ливень. Над дорогой очистилось небо. Стекали с дуба, катились по траве капли. Было тихо, так, что слышалось даже, как земля свои поры раскрывала после дождя.

Никогда не вспоминали мы то дождливое утро. Не возвращались и к разговору о скрипке. Давно промелькнуло у обоих детство, но, прежде чем оно кончилось, еще не раз удивлял Мишка мальчишек, когда рыбачили или шлялись по лесным стежкам.

В поле однажды поймал он ежика и поместил в бочку из-под водосточной трубы. Добывал для него яблоки, хлеб, молоко...

Под кустом у самой воды, помнится, разглядел как-то Мишка обглоданный скелет крупной рыбы.

— Выдра питалась! — с уверенностью определил он.— Выдра, это точно: обглодает и ни косточки не помнет!

Тому уже много и много лет. Сколько — я не считаю. Исчез в поле дуб, рухнул, бездумно кем-то подпиленный, и рои пчел, покружившись над ним, улетели искать в новых местах пристанище.



И теперь, у скульптуры, само собой думалось: не из корня ли того одинокого в поле дуба сделана она? ...И мне вновь слышался летний дождь.

Слышался, как зовущее гудение природного провода.

...Чередом сменяются, уходят на земле весны. Прилетают жить под крышами каждый год ласточки. Щебечут на проводах. Щебечут летая. И всякий раз, когда вижу я, как они лепят гнезда, всякий раз кажется мне, что в мире начинает петь и звучать много скрипок...

Была ли потом скрипка в Мишкиной жизни и выучился ли он играть — мне не ведомо. Только верится, часто верится мне, что в душе его звучит скрипка по-прежнему. Звучит та, «подкованная».

И я ее слышу. Когда прилетают лепить гнезда ласточки — мне слышится ее голос.

**МЕТКО,
НЕ ПРАВДА ЛИ?**

Судьбы слов столь же различны, как судьбы людей: один живет долго, другой рано умирает; у того всю жизнь — везение и счастье, на этого — неудачи сыплются градом; есть такие, которых знает весь мир, а иные на своей улице неизвестны. Наконец, у некоторых людей сотни родственников, и рядом с ними круглые сироты.

То же можно сказать о словах, как в зеркале, отражающих человеческую историю.

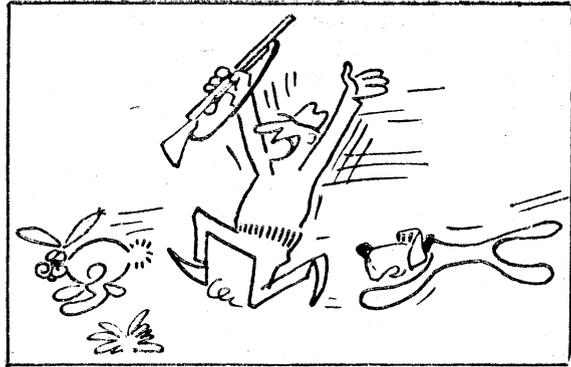
Примерами долговечности слов могут служить в русском языке: **солнце, земля, вода, небо, мать, брат, отец, дочь, сестра, глаз, кровь, видеть, жить, красный, синий, кто, что, мы, вы, пять, десять, сто** и так далее. Им от роду много веков. В чем причина их большой устойчивости? В том, что их употребляют все люди, говорящие на русском языке, и они обозначают жизненно важные понятия.

Что было бы, например, если бы вдруг исчезло слово **вода**? Чем его заменить? Влага, жидкость? Но квас тоже влага, и керосин — жидкость. Слово **вода** незаменимо, как и **брат** или **четыре**. Они на своем месте и были и будут нужными языку.

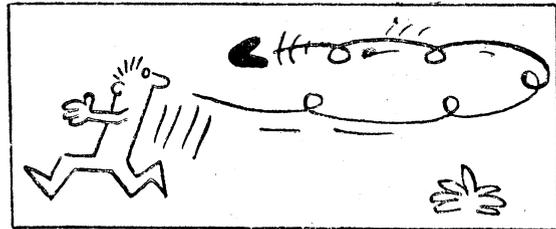
Другой разряд — слова-однодневки. Например, лет 45 назад появилось словечко **юки** (юные коммунарки), но не привилось и быстро исчезло; его заменило слово **пионеры**. Не привилось и неуклюжее сокращение **шкраб** (школьный работник), пришлось вернуться к старому доброму русскому слову — **учитель**. Многие из недолговечных слов сослужили все же полезную службу в языке, обозначая что-либо важное в тот или иной период времени, такие, как **продразверстка, комбед, уком, чоновец** и другие.

Очень повезло иностранцу — **фонтану**, который вытеснил русское — **водомер**; но зато русское — **самолет** вытеснило иностранное **аэроплан**. Русские — **совет** и **спутник** знает весь мир, а некоторые другие зато остались только в диалектах. А жаль. Вспомните прекрасное слово **взлобок** — небольшой пригорок, напоминающий покатый лоб; или: **деревинка** — маленькое деревце; **взвоять** — сверкнуть (о молнии), **жулькать** — мять (так и слышится звук чего-то сминаемого и влажного), **морок** — тяжелая, мрачная туча, **торкать** — громко стучать, ударять... Эти слова известны лишь на Урале и на Севере. Но ведь они могли бы украсить наш язык, пополнить общенародную словарную копилку. Зато бытуют всякие **шамать, хавать** вместо есть, **прахаря** вместо сапоги, **тити-мити** вместо деньги и тому подобное.

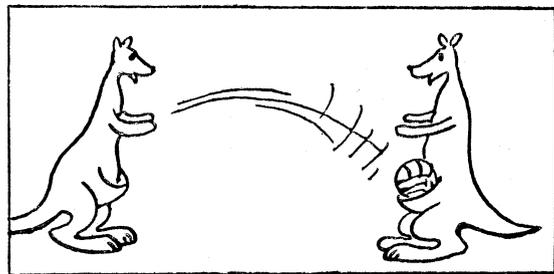
Есть слова «ветвистые», многосемейные, например, глагол **видеть**. Его родичи: вид, видимость, увидать, завидный, видение, привидение... Зато у **топора** только двое деток: топориче и топорный. У существительного **карандаш** одно



Азарт.



Бумеранг.



Кенгуру.

«чадо» — карандашный, а у наречия **где** или числительного **девятнадцать** их вообще нет.

Как видим, судьбы слов несхожи, разнообразны, пестры. Любое слово очень интересно, если взглянуть на его историю. С чего начать? Начнем с буквы «а». Вот слово **азарт** — задор, горячность, запальчивость. Слово пришло к нам из немецкого **газард**, а в него попало из французского **азар**; во французский же оно пришло из испанского **азар**, являющегося переделкой арабского **аз-зарх** — игральная кость. Известно, что азарт на людей находят во время игры во что-либо, недаром есть выражение азартная игра. Такой игрой в древности были кости — маленькие костяные кубики с резными обозначениями — рисунками или цифрами.

Акварель — водяная краска, тоже путешествовало довольно долго; слово пришло из французского **акварелль**, которое отразило итальянское **акварелло**, происходящее от латинского **аква** — вода (тот же корень, что в слове аквариум).

«БОЕВАЯ СЛАВА

ТЕХНИКУМА»



Такой альбом создали следопыты старейшего на Урале Нижне-Тагильско-горнометаллургического техникума имени Е. А. и М. Е. Черепановых. В нем они рассказали о выпускниках — участниках Великой Отечественной войны.

В конце 1966 года в техникум пришло письмо от ребят из села Арамашево, Алапаевского района. Они сообщили: в журнале «Ровесник» напечатано, что польские харцеры из города Калиша обнаружили могилу советского воина, погибшего за освобождение их родного края. Имя его неизвестно. После долгих поисков установили: похоронен офицер Петр Германович Вяткин.

Петр Вяткин — уроженец села Арамашево. Нижне-Тагильский техникум он окончил в 1937 году. Комсомольцы-следопыты побывали на родине героя, узнали, что в самом начале войны П. Г. Вяткина мобилизовали в армию. На Дальнем Востоке он окончил курсы командиров. 18 декабря 1942 года был ранен, потом еще четыре ранения. Но каждый

раз Петр возвращался в строй. Погиб он на польской земле в городе Калише.

Следопыты техникума побывали во многих местах, где воевали их старшие товарищи.

Так, в Сталинграде погиб летчик П. М. Квашнин. От берегов Волги до Берлина прошли свой боевой путь преподаватель А. К. Железнов, работник лаборатории мер и измерительных приборов Н. Н. Успенский.

В Новороссийске в районе цементного завода «Октябрь» есть братская могила, на которой установлен памятник. По нашим предположениям, здесь похоронен выпускник техникума Лылов.

Стойко защищал Малую Землю гарнизон, в составе которого воевали наши ребята И. В. Руденко и А. С. Суетин.

В селе Балки Запорожской области мы побывали на братской могиле, где похоронен Геннадий Швецов. Он ушел в армию в 1942 году с последнего курса, был комсоргом артиллерийской батареи.

В Музее обороны Брестской крепости нам показали стенд,

посвященный уральцу Леониду Шульгину. Наш техникум Леонид закончил в 1936 году. Когда началась война, ему исполнилось 25 лет. Он служил младшим командиром в одном из пограничных отрядов неподалеку от Бреста. Его хорошо помнят в окрестных деревнях как общительного, веселого и доброго человека. В первые же часы войны Шульгин с группой пограничников принял бой и погиб как герой. Прах его покоится в братской могиле в деревне Чернавчицы.

Сейчас комсомольцы техникума разыскивают имена выпускников, погибших в борьбе за Советскую власть во время Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны.

Виктор ТУХМАТУЛИН

Посмотрим слова на букву «б». Вот, например, **блуза**, заимствованное из французского **блуз**, которое восходит к латинскому **пелузна** — одежда из египетского города Пелузия, богатого города древности. Французское **блиндаж** восходит к глаголу **блендэ** — делать незаметным, скрывать, заимствованному из немецкого **бленден** — ослеплять.

Мы привыкли к **акварели**, **азарту**, к **блузе**, **берету**, **блиндажу**. Они нам понятны как слова нашего родного языка, поэтому мы не задумываемся над их историей. А ведь изучая ее, мы узнаем, что из Древнего Египта перекочевали к нам **химия**, **фармакопоя**, **антрацит**, имена **Таисия**, **Онуфрий**, **Сысой**. Из языков индейцев Америки попали к нам: **томат**, **шоколад**, **табак**; из Австралии поселились в наших словарях **бумеранг**, **кенгуру**, а **зебра** и **горилла** — из Африки.

А сколько тайн в географических названиях? **Азорские острова**, например, в переводе значит «ястребинные острова». Когда их открыли в начале XV века, то они были безлюдные, над утесами кружили ястребы, и первооткрыватели — португальцы назвали острова «ястребинными».

Голландский порт **Амстердам** значит буквально **плотина Амстель** (так называется река, в устье которой стоит город). **Антверпен** назван так по сочетанию слов **ан дер верфт** — у верфи. Название пустыни **Кызылкумы** значит по-узбекски **красные пески**, а **Каракумы** — **черные пески**. **Остров Манхэттен**, на котором расположена часть Нью-Йорка, обязан происхождением своего названия слову индейцев-ирокезов: **манхаттан** — «там, где нас обманули». Метко, не правда ли?

Название **Шотландия** происходит от кельтского племени **скоттов**, что значит «кочевники». А имя могучей сибирской реки **Оби** дали какие-то древние ираноязычные племена. Значит, оно просто **вода** (сравним таджикское название одной среднеазиатской реки **Сурхоб** «красная вода», от **сурх** — «красный» и **об** — «вода»). **Иртыш** — уже не иранское, а татарское имя: **ир** — земля+тыс — край, край земли.

Итак, у каждого слова, имени собственного или нарицательного, имеется своя, неповторимая история. своя родословная. Изучение ее — одно из самых увлекательных дел.

В. ЖИТНИКОВ

ОТ ТУРИНСКА ДО КУЛЬДЖИ

Анатолий МОТЫРЕВ

Интересуясь связями старого Урала с иными краями, я натолкнулся в одном из сборников Петропавловского педагогического института на статью, где упоминалось доселе неизвестное нам имя уральца, связавшего свою жизнь со Средней Азией. Но, к сожалению, лишь упоминался. Да была там еще ссылка на Саранский государственный архив. Я написал в Саранск. И вот ответ — пухлый пакет. А в нем копия архивного дела за № 731.

«Письма инока Афонского монастыря Парфения Митрополиту Московскому с описанием путешествия в Сибирь».

Инока? При чем тут иннок Парфений?

Похождения инока Парфения

Дело датировано 1851 годом, в нем 19 листов. Продираясь сквозь дебри незнакомого почерка, я узнал о мытарствах по Молдавии, Ближнему Востоку и России безвестного монаха Парфения, осужденного волею нелепого случая на вечное бродяжничество и ищущего возможности выслужиться перед духовным начальством и пристроиться на покой.

«Покорнейшую епистолию странствующего инока» Московскому митрополиту нельзя было читать без улыбки. «Припадая к стопам», «приходя в трепет и ужас, дабы не оскорбить Его Высокопреосвященство своим невежеством», монах в откровенно подхалимском стиле изливал митрополиту свою душу, повествуя о своей нескладной монашеской карьере, через каждую строку напоминая о преданности церкви и своих заслугах перед нею.

Монах Парфений, влекомый к подвигам во славу церкви, попал в довольно неприятную историю, которая заставила его протопать без копейки десятки тысяч верст и привела в сибирскую сторону, где судьба буквально взяла его за горло, осадив на подворье томского епископа. В Томске местный губернатор, спутав его с обычным сибирским бродяжкой, чуть было не отправил инока этапом еще дальше в Сибирь. Парфений обратился с жалобой к самому митрополиту.

Выставив в письме в качестве своей личной заслуги перед церковью такой козырь, как борьбу с раскольниками в 1836 году, он повествует в письме, как попал в Афонский монастырь, «куда стремился еще в юности...», чтобы там найти искусного старца и препоручить ему свою душу, тело и жизнь в совершенном послушании... и в безмолвии перед старцем».

На свою беду, там он нашел того, к кому стремился. Это был, судя по письму, уже выживший из ума «пустынножитель иеромонах Арсений», который отправил его, вроде «на практику» на пять лет «в пустынь», в паре со старцем Тимофеем-молчальником.

Но в пустыни Парфений, видимо, что-то не поделил с Тимофеем, который не замедлил донести об этом их «шефу» Арсению, а тот поспешил выгнать Парфения из тихого пристанища, и «высунуть на середину скорби», приказав ему идти в странствия — сначала в Иерусалим, а потом в Сибирь.

Возвратившись из Иерусалима, Парфений надеялся вымолить прощение старца и избежать продолжения искупительного странствия. Но не тут-то было. Старец Арсений «сам пошел на вечное блаженство, а меня оставил на земле странствовать и пить чашу скорби». Наложенный на Парфения обет он отменить не успел.

Парфению отнюдь не улыбалась перспектива вечного бродяжничанья, и он просил разрешить ему жить на покое в здешнем монастыре. Но ему сказали, что «твое дело конечно и запечатано смертью твоего старца». Парфений апеллировал к константинопольскому патриарху, но и тот ему отказал, подтвердив силу старцева повеления.

Монаху ничего не оставалось делать, и он пошел в Сибирь, проливая слезы и кляня почему свет своего наставника, сославшего его с благодатного юга в суровый край, неизвестно для чего и почему.

В Томске, болтаясь без дела и цели на епископском подворье, Парфений взвыл и стал бомбардировать Синод своими «епистолиями» об отмене старцева повеления, обрекавшего его на бродяжничество. Синод упорно молчал, пришлось обратиться к митрополиту. Но митрополит — фигура, к которой так просто не подъедешь, и вот тут Парфению пригодилась встреча с Порфирием Уфимцевым, участником шести походов в Среднюю Азию и Западный Китай.

Этот случай, прикинул про себя монах, даст ему возможность выслужиться перед духовным начальством. Рассказав в своем послании митрополиту о походах Уфимцева, Парфений выставил его кандидатом в миссионеры. Прекрасного-де нашел для этого дела человека, Среднюю Азию хорошо знает, проворно говорит на азиатских языках, потомков русских людей нащел там за степями и пустынями, обычаи степных народов перенял, в далекой Кульдже друзей имеет.

Таков был повод к своеобразному отчету о путешествиях, о которых мы, видимо, не узнали

бы никогда. «Эпистолия» монаха Парфения до-несла до нас имя отважного и мужественного путешественника, нашего земляка Порфирия Глебовича Уфимцева, уроженца города Туринска, бывшей Тобольской губернии.

Для митрополита и для представляемой им церкви Порфирий Уфимцев и в самом деле мог быть интересен в то особое время. Царские министры стремились закончить освоение Средней Азии, усиленно планировали решительное наступление против таинственных Кокандского и Хивинского ханств, Бухарского эмирата. А духовное начальство вслед, а то и впереди войск, направляло такую силу, как духовные миссии, которые были активными участниками колониальной политики. И, конечно же, такой человек, как Уфимцев мог быть тут необыкновенно полезен.

Это понимал старый монах и не преминул подчеркнуть сие в записанном им рассказе Уфимцева, характеризуя Порфирия как человека весьма религиозного, желающего служить делу церкви. Но если отбросить это предвзятое подчеркивание, то перед нами встает другой человек. Впрочем, вот сам рассказ Порфирия Глебовича Уфимцева, как он изложен в «Эпистолии» монаха Парфения.

Странствия Порфирия Уфимцева

...С малых лет я родителями отдан в услужение в город Семипалатинск, что в Томской губернии, к купцу Сидору Ивановичу Самсонову, который нанимал нарочитого бухарца учить меня по-бухарски говорить. И я выучил киргизский и бухарский языки и завсегда обращался с татарами и многожды ездил торговать по киргизским степям под видом татарина. Голову брил и одежду носил татарскую и весьма хорошо научился говорить по-киргизски и по-бухарски, так что никто меня не узнавал, что я русский. Потом трижды меня хозяин отправлял в Бухарию, в города Кокандии и Ташкении, в которых я познакомился со многими русскими и ходил к ним в дома, в гости. И они как родные весьма ласковы, но говорили больше по-бухарски, чтобы и жены их понимали. Ходили к ним в молитвенные дома и молились с ними вместе. Они пели, читали очень хорошо, только что нет священника, о чем весьма соболезнуют и приказывали мне купить и привезти из России к ним книг и икон. Когда, бывши в России, на ярмарках Макарьевской и Ирбитской, покупал книг и икон и отправлял в Бухарию. Путь до Бухарии весьма труден, все на верблюдах и песками. Я уже приезжал в Бухарию как к родным. Потом в 1842 году отправился в Бухарию. Но в Кокандии товары все не продал, то отправился в Ташкению и там посетил русских и погостил у них в двух городах, где русских более 200 семей. Но в Ташкении товары не продал и вместе с бухарцами и ташкентцами отправился прямой дорогой в Китайское царство. Ехали на верблюдах 30 дней, путь весьма труден, песков много, а воды мало. Приехав в китайский город Кульджу, стояли в гостинном дворе. Там торговали очень хорошо и выгодно...

В 1844 году хозяин нагрузил товаров две тысячи верблюдов и отправил прямо в Китай, в город Кульджу. А нас хозяин отправил русских

только двоих приказчиков, а прочие все были татары, но мой товарищ русский на полпути помер и перед смертью плакал, что умирает посреди степи без священника и без причастия. Мы со слезами распростились и по смерти его похоронили. Из Семипалатинска до Кульджи ехали три месяца, но ехали весьма медленно, потому что гнали много верблюдов в Китай. Приехав на Китайскую границу, на первом кордоне описали нас и дали провожатого. Потом ехали 10 дней калмыками, выехав на большую дорогу, которая идет из Пекина в Кульджу. Приехав в Кульджу, остановились на поле, куда приехали начальники и взяли пошину десятину. В загородном гостинном дворе расставили свои кочевые юрты наподобие калмыцких кибиток и расклали свои товары и начали торговать. В один из дней прихожу в свою юрту и вижу, что сидит градский китаец, купец, они нас каждый день посещали, кто покупать, а кто менять. Я же, поздоровавшись, спросил, умеет ли он разговаривать по-бухарски, он сказал, что знает. Тогда я приказал подать чубук с табаком, на что он ответил, что не употребляет, чему я весьма удивился и сказал: почему же ваши китаецы все охотники до чубуков, а ты не хочешь? Он отвечал: кто как хочет, кто охотник, а кто и нет. Тогда я приказал подать чаю, и между собой много мы разговаривали про торговые дела. Потом он говорил мне, что ты не должен быть бухарцем и ни татарин, а должен быть русским. Я ему сказал: почему ты меня так признаешь, он же говорил: что лицо твое отлично и обхождение твое ласковое, да и сердце мое тебя полюбило. Я ему ответил: напрасно ты так обо мне думаешь, я чистый татарин, а что лицо мое такое и обхождение, то и у вас не все на одно лицо и обхождение также разное.

ИЗВЕЩАНИЕ № 711

Саровский Монастырь

Дело № _____

Писавший: монах
Антоний Монастырь
Парфений митрополит
ту Московскому с оми
сантиме порфирием в
Сибирь

Начато 1857 г. 103 г.
Окончено 1851 г. 103 г.
на 19 страниц

Потому я не сознавался, что боялся, что узнают и с подворья выгонят весь караван. Он же сказал: точно есть всякие люди, но только ты не татарин, а открылся мне чистосердечно, ибо я сам русский или по крайней мере от русского имени произошел. Я ему сказал: почему же ты русский, ты чистый китаец? Он же отвечал: точно, я теперь китаец, но предки наши были пленены и отведены в Пекин, а потом деда моего сослали сюда, то отец мой и я уже здесь народились. Я же спросил, как же вы молитесь? Он перекрестился, но только не так, как русские, а прежде на левое плечо, я сказал, что русские не так молятся, он же сказал: мы уже все здесь позабыли.

Потом начал пристально просить, чтобы я ему открылся, кто я такой? Я вижу, что точно он из русских, сказал ему, что точно я русский. Он же это услышав, хотя у него и прежде по лицу катились слезы, вдруг вскочил и бросился мне на шею и горько заплакал, так что омочил меня слезами, и держал меня в объятиях более часа и беспрестанно рыдал и говорил, что блаженны очи мои, что увидел русского человека. Потом исполнился радости великой и начал меня целовать в уста и руки мои, и назвал меня своим братом. Он человек молодой, не более 30 лет, и сидел у меня в юрте до самого вечера, покуда не ударили в постовую пушку, чтобы запирали городские ворота, и обо всем мы разговоривали, и он расспрашивал о России, о русской вере.

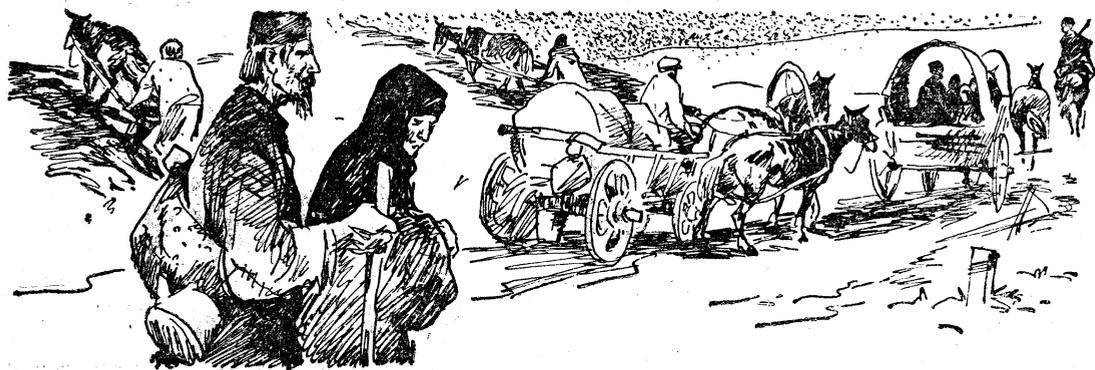
Я ему обо всем рассказал, что какие у нас церкви и монастыри и какие священники и обо всем прочем. Он слушал, беспрестанно плакал и просил меня на завтра в гости, в свой дом, и я обещался. Он сказывал после, что приехавши домой, сказал своей жене, что какую он сподобился получить в тот день радость, и жена, хотя и китаяка, от радости много плакала и просила мужа своего, чтобы он меня привел в свой дом. На другой день весьма рано, только что отворили градские ворота, он приехал к моей юрте на конях верхами, и другого коня в поводу привел для меня и просил ехать к нему. Я же угостил его чаем и взял несколько подарков его жене и детям. Приехавши к нему домой, жена выбежала к воротам, сняла меня с коня и целовала мои руки и сама от радости плакала, и вшедши в дом четверо детей кланялись мне в ноги и целовали мне руки и все сели вокруг меня. Два мальчика и две девочки беспрестанно смотрели мне в глаза; и начал я давать гостинцы, они же никак не хотели брать, что едва мог убедить отца и мать. Потом пошло угощение,

и жена наготовила в китайском вкусе свинины и пельменей и сказала, чтобы я кушал, не опасаясь, что они сами кололи, а мы, говорит, и сами китайского колонья не едим. В разговорах все сближались и много смотрели на меня, удивлялись и плакали и обо всем меня расспрашивали, и жена и дети беспрестанно рассказывали по-китайски и читали по-китайски. «Верую в единого», и «Отче наш» и переводили мне по-бухарски.

И так проводили много дней то у того, то у другого, и только когда разлучались, то они плакали и говорили, что как быть, что не имеют ни священника, ни церкви, что они веруют в Иисуса Христа, но ничего больше не знают, а желают знать, но некому учить, и ежели бы можно, то мы бы все ехали в Россию, оставив свои дома, но это невозможно.

На сих годах двое бежали и думали, что проберутся как-нибудь в Россию, но их в калмыцкой степи поймали и здесь предали страшной мучительной смерти. С Пекином сношения иметь невозможно по великой дальности и трудности пути и по здешним гражданским законам... Потом ездили в старую Кульджу к русским в гости и там также нам были рады, ибо старая Кульджа отстоит от новой в 30 верстах. В новой Кульдже 8 домов русских, а в старой 7 домов, и живут все весьма исправно, имеют хорошие дома и сады и сами богатые купцы. Потом ездили в один сад от новой Кульджи в верстах 20, и там хозяин живет тоже русский и весьма богатый, и сады весьма великие, и множество разных деревьев чайных и яблонь, а более всего винограда, и хозяин весьма нам был рад, мы гостили у него двое суток и гуляли по саду и лесу. Показывали нам малину, что он нашел в лесу, и вот три года, как высажена она в саду, и даже не знал, что это за ягода. Я сказал, что это ягода русская, называется малина, еще показывал березу, тоже удивлялся этому доеву, что никогда не видел. Подле сада протекает река Или, и в ней много рыбы. Я спросил: почему же ее не ловят, а он отвечал, а как ее поймать и что из нее делать. Я съездил в свою юрту и взял бредень и приехавши ловил язей и окуней и сварил уху, они есть боялись, и тогда я их уверил, что она весьма хороша и здорова, а они начали есть и хвалить, и говорить: а мы и не знали какое добро.

И у садовника тоже жена весьма добрая и много детей. А по другую сторону сада великая гора, покрытая лесом, только лес больше каштановый, есть и дубовый и сосновый.



Стр 1

Счетливый приветие отъ бундучаго Високаго
 Великого Высочайшаго вельможнаго Государя
 Императора Великого Князя Князя
 Смоленскаго Святого Странника Сергеева
 Лавра Ивановича Архимандриту и
 Духовному Дворнику Кавалеру

Отъ страсти бундучаго инокъ и
 тихъ Сергій Смоленскій, отъ Смоленскаго Парсонъ
 Николасевича Свистункина

Ваше Высочайшее Священство, всилнее
 милостию Архимандритъ, приидеши къ
 намъ помяну Вашимъ и въ алтаряхъ и
 миссахъ Архимандритовъ и много словеса, и
 много Вашимъ всилнейшимъ речемъ
 Всилнейшимъ Архимандритъ, когда
 и, нае въ сей гласъ и неостраждимый
 законитъ Ваше Высочайшее Священство
 и посланнень и присвоитъ въ реченъ и
 дара дабы чинитъ оскрѣтитъ Велику Света

и пропуститъ сему
 Дары великия бундучаго инокъ и
 миссы и не остраждимый речемъ и
 начавъ насъ инокъ и миссы и
 миссы въ Смоленскъ Московскій
 и Смоленскій и Смоленскій и
 та 2 гудъ къ подаши и
 Архимандритъ инокъ и миссы
 сему подаши и миссы и
 Смоленскій инокъ и миссы
 Смоленскій инокъ и миссы
 Смоленскій инокъ и миссы
 Смоленскій инокъ и миссы

Правды Николасевича Сергеева
 Уфимцова

Въ маломъ инокъ и миссы
 въ Смоленскій инокъ и миссы
 въ Смоленскій инокъ и миссы
 въ Смоленскій инокъ и миссы

Итак, прогостивши в Кульдже три месяца, весьма хорошо расторговались, гостили у русских и научили их молиться богу. Потом возвратились в Россию, в Семипалатинск.

В 1845 году снова отправился в Китай и прибывши в Кульджу, брат мой встретил меня с виноградом верст за тридцать и, увидевши, много от радости плакал. Проторговавши ярмарку, отправился в Россию, на полпути же попался встречю нам товар, и получил от хозяина письмо, чтобы возвратился в Кульджу, я послушался и возвратился в Кульджу и сложил товар у названного брата, прожил в Кульдже 11 месяцев и, продавши товар, дважды отправлялся в киргизскую степь с китайским товаром, торговать и менять на баранов, и весьма мне поспотливалось. Потом 25 декабря я объявил всем русским, что в этот день празднуется Христово рождество, и они сделали великий праздник.

В 1846 году пришел в Кульджу товар на ярмарку, и я расторговался, а потом получил неприятное известие, что в киргизской степи на нашей дороге собралась шайка разбойников до 5000 человек под предводительством атамана султана Кенесары. Мы весьма испугались, что вышла она на нашу дорогу и нас дожидается, чтобы нас порубить, а товары наши взять, а поэтому я навсегда простился с братом и прочими китайцами, называвшимися русскими. Они весьма горько плакали и долго провожали верст за 30, и я им сказал, что жив буду от разбойников, но уже сюда в Китай не приеду, и так со слезами расстались навсегда. В новой Кульдже жителей до 100 тысяч, а в старой вдвое больше, а русских только до 50 человек всего. Но и китайцы мне полюбились, народ умный и рассудительный и весьма любопытный и разговорчивый...

Потом, выехав в степь и узнав, где стоят разбойники, отправили другой дорогой караван, бли-

же к Китаю, между гор. А сами мы, человек 20 с дарами, на конях верхами отправились к разбойнику Кенесары на лицо, как бы просить милости, чтобы пропустил наш караван без обиды и, приехав к нему, воины нас встретили. Он же принял нас в своей юрте и весьма ласково с нами обошелся, угощал нас три дня и, приняв наши дары, сказал: поезжай, я обиды никакой не сделаю и сам завтра же откочую в степь, и приказал нас проводить к обозу без обиды. Мы простились и выехали назад из его воинства, так, обманув его, и проехали благополучно. Потом, хотя он и узнал после, что мы проехали другим путем, но уже не погнался, потому что услышал, что из Семипалатинска высаали нам навстречу казаков. А так приехали в Россию благополучно. Но я уже больше с караванами не ходил, рассчитался с хозяином и приехал в Томск.

Вот какие мои странствия. Но скажу, что если бы поехал какой священник в Китай и в Бухарию, то я бы поехал туда и за переводчика, ибо мне весьма полюбилась та страна, и языки знаю, и люди все знакомы.

Путь в неизвестность

Сто двадцать пять лет назад путешествие с Урала в Среднюю Азию было делом долгим и опасным: оно вело в неизвестность. Даже сто лет назад никто в Российской Академии наук не знал точного географического положения нынешних столиц среднеазиатских республик.

Еще в XVI веке русские люди прошли от Урала до Тихого океана, обошли морем северо-восточную Азию, добрались до берегов Северной Америки, а Центральная Азия, таинственный Тибет, Бухара, Хива так и оставались неведомыми

странами. Попытки проникнуть туда многим стоили жизни.

Еще в начале XVII века была сделана попытка продвинуться вверх по Иртышу. Петр I обратил свои взоры на верховья этой реки как на путь, по которому можно добраться до джунгарского города Яркенд — вблизи его будто бы имелись обильные россыпи золота. Указом от 23 мая 1714 года Петр приказал снарядить под начальством подполковника Бухгольца экспедицию для завоевания Яркенда.

Бухголец на 32 дощаниках и 27 лодках с отрядом в три тысячи человек вышел из Тобольска на Яркенд. Около ямышского озера им была построена крепость, но ее осадили джунгары, и Бухгольцу пришлось отступить на север к реке Оми и там основать Омскую крепость.

Спустя четыре года подполковник Ступин продвинулся еще дальше и основал Семипалатинскую крепость. Она возникла на стыке старых караванных дорог и стала центром, связывающим север Азии с югом, востоком и западом. Через нее шел кратчайший путь в Китай и Индию.

И снова проникновение в Среднюю Азию задержалось на многие годы. К сороковым годам прошлого века, когда Уфимцев отправился в эти страны, о них все еще знали очень мало, да и велик был риск их посещения и изучения. Знаменитые путешественники Герман и Роберт Шлагинтейтеры добрались в эти годы в Китайский Тибет через Индию и шли переодетыми. Третий брат Адольф дошел до Кашгара и здесь волею жестокого джунгарского хана был казнен. В 1862 году венгерский путешественник Арминий Вамбери рискнул отправиться в Бухару через пески пустыни. Он шел под чужим именем, переодевшись бродячим дервишем, и больше всего боялся заговорить во сне на родном языке — тогда его бы разоблачили и предали мучительной смерти.

Таково было положение в тот период, когда Порфирий Уфимцев совершал свои походы в Среднюю Азию и Западный Китай. И не удивительно, что путешествовал он «по Бухарии и по киргизским степям, и по Китайскому царству шесть лет под видом татарина и бухарца, потому что русскому по этим странам ездить невозможно».

Но что же привело уральца Порфирия Уфимцева в Среднюю Азию?

Приказчик купца Самсонова

Поиски в архивах подтвердили, что в Туринске жила семья Уфимцевых, глава которой Глеб Андреевич значился мещанином города Ирбита и служил приказчиком. В 1821 году в его семье появился сын, его назвали Порфирием.

Поездки с отцом на Ирбитскую ярмарку и в Тобольск, походы на баржах по Нице, Туре и Иртышу, встречи с торговыми людьми, прибывшими с караванами из далеких краев, рассказы бывалых людей о русских землепроходцах — все это будило у юного Порфирия желание побывать в неведомых странах и краях. Именно поэтому, пожалуй, он и покинул рано отчий дом и оказался у семипалатинского городского головы Сидора Ивановича Самсонова.

Семипалатинск жил тогда напряженной жизнью. Он недавно стал центром обширнейшего края. Средоточие торговых путей с Алтая и Кобдо, Копала и Кульджы, Коканда и Ташкента возвеличивало его славу и богатство.

Несомненно, что, живя в Семипалатинске, Уфимцев не раз бывал в развалинах знаменитых Семи Палат, в рядом стоящей крепости, где томился Достоевский, служа солдатом линейного батальона. Вполне возможно, что Достоевский бывал в доме хозяина Порфирия.

С. И. Самсонов помимо торговли увлекался и другими делами. Например, он серьезно интересовался недрами Семиречья, собирал сведения о золотых месторождениях края. Как видно из записок, он с охотой занимался воспитанием Порфирия, готовил из смышленного юноши надежного и ловкого приказчика, смелого караванбаши. Не случайно Порфирий в 19 лет свободно разговаривал по-татарски и казахски, знал узбекский, понимал китайский, хорошо знал обычаи и законы степных азиатских народов. Готовясь к дальним походам, Уфимцев не раз встречал приходившие в город караваны, расспрашивал проводников о путях, которыми они прошли. В базарные дни он подолгу наблюдал за купцами и караванщиками, изучая их разговоры. Опытных проводников, знавших дорогу к сердцу Средней Азии, было не так-





то много, и Порфирий по крупцам собирал и отлагал в памяти все сведения о караванных путях в далекие края.

По вечерам вместе с хозяином он внимательно изучал старые рукописные карты с нанесенными путями торговых караванов. Только после такой подготовки Самсонов пустил, наконец, Порфирия с караваном в Ташкент и Коканд.

Караванбаши из Туринска

Это был период, когда еще не гремели царские пушки, направленные на среднеазиатские ханства. Пока лишь велись оживленные переговоры между русскими и английскими дипломатами о сфере влияния в этом районе мира. Не пушки, а русские дипломаты и русские товары завоевывали среднеазиатские рынки и симпатии племен Большой и Малой Орды.

Порфирий Уфимцев не рассказывает, какие товары и на скольких верблюдах он вез в своих первых походах в города Средней Азии, но дорога туда была действительно связана с большим риском. Чужаков там не любили, и приходилось выдавать себя за нерусского.

Можно предположить, что и он попадал в переплеты, был опознан, а караван его ограблен. Кто знает...

От первых майских дней, когда степь зеленела яркой и свежей травой, до прихода жестокой стужи и ветров колесил Порфирий по бескрайним просторам от Иртыша до снежной стены Ала-Тау, обратнo к Тарбагатаю и китайской границе.

В эти годы торговля России со Средней Азией росла особенно успешно, из года в год увеличивался ввоз русских товаров. Один путешественник писал два десятилетия спустя: «Без преувеличения можно сказать, что нет ни одного дома, ни одной

палатки по всей Средней Азии, где не встречалось бы какого-нибудь русского изделия».

Интерес к жизни кокандцев и ташкентцев привел Уфимцева к знакомству с «чало-казахами» — давними выходцами из Российской империи. Эти знакомства, как мы видим из рассказа Порфирия, переросли в дружбу.

Эта встреча, привезенные с родины книги и иконы пробудили у чало-казахов тоску по родине. И, видимо, не случайно через несколько лет они стали уходить из Кокандского ханства под охрану новых казачьих крепостей Копала и Верного.

Романтическая встреча Уфимцева с потомками русских людей в Кульдже закончилась, как и встреча с чало-казахами, их просьбой привезти им в следующий приезд книги и иконы. Уфимцев, можно сказать, был первым русским, отыскавшим потомков русских людей в далекой Джунгарии. Он встретился с потомками албазинских казаков, которых еще в XVII веке пленили после разгрома амурской крепости Албазин манчжуры и потом сослали в Пекин, а оттуда в Западный Китай.

Надо полагать, что он в следующий приезд выполнил просьбу «русских китайцев», которых в Кульдже жило «до 50 человек».

После шестого похода, когда Уфимцев едва унес ноги от вероломного султана Кенесары, он, рассчитавшись с хозяином, появился в 1847 году в Томске, где и были записаны его рассказы о походах в Среднюю Азию.

* * *

Имени Уфимцева не значится среди плеяды великих путешественников, изучавших в прошлом Среднюю Азию. Он не оставил после себя толстых томов с научными изысканиями, ибо путешествовал он не с учеными, а с торговыми целями. Побывав в этих краях, он полюбил их и оставил нам небольшое, но интересное свидетельство о своих походах через казахские степи вдоль Небесных гор в города среднеазиатских ханств и Джунгарию, в труднодоступные в те годы края.

Рисунки Н. Мооса

В МОРЕ-ДОМ НАШ

Я. ВАДИЛЬЕВ

Рисунки Н. Мооса

1. Радиограмма начальника Беринговской рыболовецкой экспедиции была предельно кратка: топливо и вода на исходе.

— Топливо и пресную воду рыбакам должен доставить танкер.

— Танкер? Но ведь в бухте лед...

Заместитель начальника пароходства нетерпеливо перебил:

— Да, в бухте лед, в Беринговом море лед и ураганы, но другого выхода у нас нет. Мы не можем сорвать работу флотилии. Решено послать «Советскую нефть».

Я настораживаюсь. Чувствую — сейчас речь пойдет обо мне.

— На «Советской нефти» нет старшего помощника капитана. Есть предложение направить вас.

Предложение, честно говоря, застаёт врасплох. Зам, видимо, чувствует это, и добавляет:

— Рейс, конечно, очень трудный. Но надо, Яков Петрович, надо идти...

Против «надо» возражать трудно.

Итак, зимний рейс. Пытаюсь припомнить что-либо подобное — нет, танкеры зимой в Беринговом море, кажется, не ходили никогда. И на сборы всего несколько часов.

Короткое прощание, и вот уже убран трап — последняя осязаемая связь с берегом. Заработали двигатели, но тяжелый танкер, загруженный «под завязку», вздрогнув, остался на месте. Дизели, не в силах разорвать ледяные путы, натужно воют на верхних пределах.

— Полный вперед! Стоп! Полный назад! — кричит штурман и ругается.

Бесполезно.

По радиотелефону вызываем портовый ледокол «Илью Муромца». Имя у него громкое, но и он бьется о ледяное поле около часа, прежде чем вокруг танкера образуется полоса более или менее

чистой воды. Судно медленно, словно нехотя, отваливает от причала.

Студеный порывистый норд-вест со свистом гонит по Амурскому заливу поземку, больно сечет снегом лицо, слепит глаза. В белом вихре ходовые огни растекаются мутной радугой. Ветер ревет в снастях, яростно треплет парусину на спасательных шлюпках. В этом унылом однообразном вое гудок ледокола кажется сдавленным, словно судно задыхается. Но ледокол идет все же вперед и зовет нас за собой хрипловатым голосом. Наш танкер «Советская нефть» движется за ним по узкой водной полосе, сплошь забитой мелким льдом. Лед обдирает с бортов танкера краску, льдины сшибаются, лезут друг на друга, с неохотой уступая нам дорогу.

В рулевой рубке, кроме меня, — капитан Сурженко и вахтенный помощник капитана Прокофьев. Капитан хмурый, что-то ему не нравится, я это вижу по его лицу, но понять в чем дело не могу. Вглядываюсь в белую сумятицу перед носом танкера, снова перевожу взгляд на капитана...

— Вы что-нибудь видите? — поворачивается капитан к Игорю Прокофьеву.

Тот в ответ пожимает плечами.

— Пока вижу только то, что ничего не вижу, — пытается он острить, но шутка получается кислой.

Ледокол исчез. Только что я видел его широкую корму, из-под которой струей вылетала ледяная крошка.

— Геннадий Васильевич!...

Капитан меня не слушает.

— Вызовите ледокол! — резко приказывает он Прокофьеву.

Штурман четко повторяет приказание и ворчит:

— Добрый хозяин в такую погоду собаку за порог не выгонит. Дождались бы утра...

Капитан взрывается:

— Рассуждения оставьте при себе! Быстрее связывайтесь с ледоколом!

Таким рассерженным Сурженко я еще не видел. Чувствую, как меня начинает хватывать тревога.

— Ледокол не отвечает! — докладывает через минуту Прокофьев.

— Стоп, машина!

Капитан выскакивает на правое крыло мостика. Вместе со звонком машинного телеграфа останавливаются дизеля. Танкер продолжает двигаться по инерции вперед, и вдруг в ходовой мостик упирается луч прожектора, ослепляя и рулевого, и штурмана, и меня. Прежде чем я успел сообразить, чей это прожектор ослепил нас, как громовая команда капитана обрушивается на танкер три с половиной тысячи лошадиных сил:

— Полный назад! Лево руля!

Я почувствовал сильный толчок — это танкер судорожно рванулся назад. И в ту же секунду правый борт танкера скребанули кранцы ледокола. Все, кажется, пронесло.

— Я же говорил, — унылым голосом тянет свое штурман, — подождать до утра...

— Прекратите, штурман! — кричит со злостью капитан, хватая мегафон и направляет его в сторону уходящего ледокола:

— Почему-у не отвечаете на вызовы?!

— Меняли сгоревшую лампу... — едва доносится из метели.

— У нас всегда так: на охоту идти — собак кормить, — опять не выдерживает Прокофьев, а капитан безнадежно машет рукой. Аварию пронесло, и Сурженко подобрел.

А вокруг — лед и ночь. Термометр показывает минус двадцать четыре градуса. И метет поземка по Амурскому заливу, залиывая на льдинах свежие заструги.

«Илюша», как любовно зовут моряки старый ледокол, старательно расчищает дорогу нашему танкеру. Но танкер, загруженный по «зимнюю марку», тяжелый и неуклюжий, то и дело заклинивается во льдах. Ледокол возвращается, вырывает нас из плена, но только он уходит вперед, чтобы пробить канал, как льдины опять остервенело лезут на беззащитный танкер.

Пять часов пробиваемся мы сквозь льды. Всего семь миль. Сменились рулевые, вахтенные механики, мотористы, по-

мощник капитана. «Идите отдыхать», — предлагает Сурженко и мне. А сам продолжает шагать по ходовому мостику.

Шесть шагов туда — шесть обратно. Час, второй... всю ночь.

Это мой первый поход на «Советской нефти».

Не успел ознакомиться с судном, как получили приказ идти на Север.

— Вот вам и крещение, — сказал мне тогда капитан. А потом спросил: — Бывали здесь? — И указал точку в Беринговом море.

— Нет.

Геннадий Васильевич хмыкнул:

— Ну, значит, побываете.

На что он намекал? Тяжелые льды? Штормы? Да, этот участок Берингова моря для моряков не сладкий пирог. Но мне приходилось бывать и севернее. Тот чертов остров Нотапэлмен не сразу разыщешь и на карте. А в море, когда над льдами сутками висит тяжелый, как вата туман...

2. Нотапэлмен вспоминается часто. Иногда снится.

Мы тогда потеряли счет нашим попыткам пробиться к этому затерявшемуся в просторах Арктики острову. Вокруг, сколько ни шарь биноклем, — сплошное поле льда. Торосы, заструги, опять торосы... Мы знаем, что в ледяном поле есть где-то разводья. Но где? Ветром нагнало к острову льдины так плотно, что они теперь кажутся сплошным белым массивом. Но льдины должны раздаться, не может быть, чтобы мы не нашли трещину. И наш «Красногвардеец» медленно наползает на льдину, но она казалась сделанной из стали.

Вахтенный помощник капитана переводит стрелку машинного телеграфа на «полный назад», машина тяжело вздыхает, как смертельно уставший человек. Пароход дрожит, но сползти с льдины у него уже сил не хватает. Капитан командует «средний ход вперед», дрожь корпуса усиливается. Руль переключиваем с борта на борт, и «Красногвардеец» начинает раскачиваться. В какой-то один известный только ему момент капитан сам ставит стрелку машинного телеграфа против слов «полный назад». Пароход вздрагивает, словно от сильного удара, и со скрежетом сползает в воду, в ледяную кашу.

Льдины у борта крошились, становились на дыбы, ненадолго тонули, а когда всплывали, то на их краях были видны рыжие пятна — следы краски, содранной с бортов и днища парохода.

Капитан в этот момент вздыхал. Или ругался. И снова бросал тысячетонную массу на лед.

Грохот разбиваемых льдин разносился далеко вокруг, а когда судно приостанавливалось, наступала удивительная тишина. Такой тишины не бывает на берегу, нет такой тишины и в открытом море. Даже в самую тихую погоду всегда слышен плеск волн о форштевень. А здесь, у Нотапэлмена, стоит томительная тишина. Льды, льды. Уже которые сутки!

— Начнем сначала? — спрашивает вахтенный помощник.

Удар, скрежет, нос парохода вылезает на льдину... А ей хоть бы что.

Судно, сколько позволяет лагуна, отходит назад, словно готовится к прыжку.

И так повторяется бесконечное количество раз.

Наконец капитан сдался. Запросил помощь. Отозвался «Оленек» — «брат» знаменитой «Оби». Его «сестра» работает на юге, в Антарктиде, «Оленек» только на севере.

Дизель-электроход пробивался к нам семь суток. Семь суток мы обшаривали горизонт биноклями. Наконец, «Оленек» пробился. Тяжело ему достался этот поход. Когда он вползал носом на льдину, обнажался ржавый ободранный корпус.

«Оленек» проводил нас к небольшому поселку, разбросавшему свои домики у самой кромки полукруглой бухточки. Здесь крупного льда не было, и «Оленек» дал прощальный гудок. Его путь лежал на запад. «Красногвардеец» остался опять один.

Мы торопились. Уже через час между пароходом и берегом засновали самоходные баржи-«северянки». Застучали судовые лебедки, из трюмов поползли в сетках ящики, бочки, контейнеры. Но вдруг над бухтой разносился тревожный сигнал тифона, и мы, спешно прекратив погрузки, выбирали якоря и спешили на помощь какой-либо «северянке», прижатой невзгодой откуда взявшейся льдиной.

Лебедки рокотали круглые сутки. Впереди еще четыре таких же, как Нотапэлмен, поселка, а над бухтой все чаще разносились сигналы «северянок». Льды на-

поминали о себе, медленно и неотвратимо наступая на бухточку.

Я был у капитана, в его салоне, когда пришел встревоженный вахтенный помощник.

— Ветер меняется, товарищ капитан, — сказал он.

Капитан, не говоря ни слова, быстро набросил куртку на плечи. Помощник посторонился, пропуская его вперед, а потом пошел следом, ожидая приказаний.

Капитан осмотрелся, сказал:

— Пожалуй, к полудню надо ожидать...

Я проследил за его взглядом. Возле солнца появился белый круг, как у луны в морозную ночь. Тучи, лежащие на горизонте, пришли в движение. Небо стало вдруг белесым, словно подернулось ледяной корочкой.

— Что будем делать? — спросил меня капитан. — Кончать?

— Да.

Он прошел по мостику, я видел, что он колеблется. Кончать — это значит опять уходить в открытое море. А пробьемся ли мы потом к Нотапэлмену? Опять звать на помощь? Не очень-то приятное удовольствие — взывать «Помогите». Капитан провел рукой по лицу, словно смывая усталость и нерешительность, и скомандовал:

— «Северянкам» к борту!

«Красногвардеец» тревожно загудел.

Пока поджидали «северянок», пока поднимали их на борт, ветер полностью сменил направление — перешел на норд. Да, капитан был прав: льдины, дремавшие к северу от острова, зашевелились и двинулись на нас плотной белой массой.

— Полный вперед!

Капитан, навалившись грудью на ветроотбойник, поводя вокруг окулярами бинокля, часто отдавал команды о смене курса. «Красногвардеец» вздрагивал от ударов, монотонный стеклянный треск пронизал весь его корпус — судно шло уже в сплошной ледяной каше, зарываясь в нее по самые клюзы. Вскоре льдины взяли пароход в кольцо. За час отошли от берега всего на две мили.

— Самый полный вперед! — голос капитана постепенно повышался. А гул вокруг парохода нарастал.

Все, что случилось в этот момент, я узнал от машиниста Анатолия Баранюкова. Узнал потом, когда он был в состоянии разговаривать.

В машинном отделении только догадывались, что творится вокруг. Грохот льдин, трущихся и разбивающихся о борта парохода, здесь, глубоко внизу, из-за шума работающей машины и дизель-генераторов, почти не был слышен. Но даже по тому, как часто и резко переводится ручка телеграфа, Баранюков понимал, что льды зажимают пароход в тиски.

Вдруг Анатолий заметил, что снизилось давление мазута. Подошел к насосу, привычным движением потянул на себя рукоятку, и в ту же секунду потух свет. Инстинктивно, словно свет мог погаснуть от ручки насоса, Баранюков рванул рукоятку назад. Потом обернулся: где-то за электрощитом родился и быстро нарастал посторонний, с трудом отличимый от рева перегруженных машин шум. Баранюков, балансируя на скользких плитах, бросился на шум и вдруг остановился: перед ним светилось голубовато-зеленое пятно. Вода! Сквозь пробоину в борту хлестала ледяная струя.

Какое-то время Баранюков стоял в растерянности, ощущая, как вода поднимается, охватывая ноги холодом. И вдруг его ожгла догадка: электрощит! Вода может залить динамо-машины, парализует весь корабль! Машинист бросился к пробоине. Струя отталкивала его назад, он хватался руками за стойки и кричал, кричал, стараясь перекричать грохот льдин, стук машин и шум воды, зеленоватым потоком бьющей через пробоину. Но вода забивала рот и ноздри, Баранюков захлебываясь, вытягивал сведенную холодом шею, приподнимал лицо, стараясь глотнуть свежего воздуха, и сантиметр за сантиметром, повернувшись спиной, надвигался на пробоину. Мощный поток сшиб его с ног. Он успел ухватиться за стойку и прижался спиной к борту. Нащупал плиту электрощита и, упираясь ногами, закрыл пробоину спиной. Что-то жесткое больно ударило в спину. «Льдина», — промелькнуло в голове. Струя неожиданно ослабла, и Баранюков выпрямил ноги. Оглушенный и слабеющий, он уже не чувствовал боли от впившихся в спину рваных краев пробоины, его бил мелкий, неудержимый озноб. С каждой минутой все больше деревятели ноги. В глубине гасшего сознания мелькнула мысль «все, конец». Машинист попытался распрямиться, чтобы оторваться от пробоины и принять более удобное положение, и это было последнее, что осталось в его сознании.

Когда я прибежал в машинное отделение, там уже все было кончено. Обессиленного, полузахлебнувшегося Баранюкова оторвали от пробоины, уложили на принесенный матрац.

Над пострадавшим склонился судовой врач. После укола Анатолий открыл глаза, но через минуту снова потерял сознание...

Зголос, раздавшийся над моей головой из динамика судовой трансляции, заставил меня подскочить. Я растер лицо — умываться было некогда, натянул одежду. Капитан напрасно вызывать, да еще по радио, не будет.

Было уже утро — тусклый серый расцвет едва намечался на востоке.

— Отдохнул? — спросил меня Сурженко.

— Немного.

— И мне отдыхать, наверное, надо. — В его голосе проскользнула ирония.

— Я готов, — отвечаю я как можно бодрее.

Вахтенный штурман объяснил обстановку. Только что прошли маяк «Поворотный» и взяли курс в открытое море. Я оглянулся: за кормой в сумерках проглядывались белые гребни волн. Периодически через равные промежутки мигал маяк. И все. А через полчаса маяк скроется за кромкой горизонта. И останемся мы одни в пустынном море.

Моряки в такие минуты не любят смотреть за корму. С подчеркнутым усердием углубляются в знакомые до мелочей дела, пряча за ними грусть. Впереди долгие месяцы скитаний по суровым северным морям. Сначала Японское, потом Великий океан, потом Берингово море...

В Японском море погода сравнительно неплохая. Но едва мы вышли из Сангарского пролива, термометр резко упал и солнце скрылось за плотной стеной облаков. А к полуночи потянул холодом норд-вест.

К вечеру следующего дня небо, превратившись в свинцовый купол, быстро едавливает узкую полоску заката в море. И, словно обрадовавшись темноте, ветер усиливается, волны увеличиваются, подхватывают танкер, вздымают его на десятиметровую высоту, открывая по бортам глубокие седые ущелья.

Время сразу же разрывается на определенные интервалы: две минуты относи-

тельной тишины и десять секунд оглушительного рева.

Мы подаем сигналы встречным судам.

Пурга налетела внезапно. Как всегда на море, она сделала окружающий мир маленьким, а от этого и сам, кажется, становишься меньше и слабее. Бешеный ветер накрывает танкер белым саваном, срывает с высоких волн пенные брызги, подбрасывает их вверх, а потом окатывает судно до верхних надстроек мелкой соленой пылью. И эта пыль тотчас начинает поблескивать зловещим лаком.

— Не нравится мне это,— бурчит Сурженко, прильнув к смотровому окну. Отдыхать он так и не ушел.

— Вы собирались отдохнуть,— напоминаю я.

— Правильно, собирался, но прежде надо проверить крепление шлюпок и всего, что есть на палубе.

Я понимаю, что последние слова относятся ко мне, и выхожу.

На шлюпочной палубе ни души. Пусто и во внутренних помещениях корабля. Только в красном уголке мужественно сражаются «козлятники», да секретарь комсомольского комитета Валерий Хабаров тщетно ожидает участников художественной самодеятельности.

Я опять обхожу палубу. Боцман постарался на совесть. Как будто все в порядке, все принаитовано. Но на душе неспокойно, особенно, когда взгляд падает на море.

Волны уже перекатываются через палубу, оставляя после себя корки льда. Впереди, за едва виднеющейся мачтой и неясными контурами полубака, сплошная стена мятущегося снега.

Сурженко встречает меня вопросительным взглядом.

— На палубе вроде все в порядке,— говорю я.

— Вроде или действительно в порядке?

Я повторяю:

— Все в порядке.

А через минуту слышу за спиной громкий голос штурмана Горютского:

— Геннадий Васильевич, пожалуй, баллов одиннадцать... Боюсь, за ночь льда намерзнет много.

Я отлично понимаю, о чем он говорит: дело сейчас не только в обмерзании. Не натворили бы ветер и море чего-нибудь на палубе.

Капитан бросает на меня косой взгляд,

и я в его взгляде читаю: «Ты на танкере человек новый. Можешь что-нибудь и проглядеть. А Горютский не проглядит». И приказывает Горютскому:

— Сходи-ка посмотри, что и как. Только осторожно,— добавляет он вслед.— Боцмана возьми.

С мостика я вижу, как, подсвечивая фонарями, Горютский и боцман осматривают палубу. Несколько раз их захлестывают волны и закрывают заряды снега. И по одному этому нетрудно понять, что ветер усилился: меня на палубе так не накрывало.

Через полчаса Горютский возвращается. Полы его плаща, одетого поверх телогрейки, гремят, как жестяные.

— Намерзает быстро, особенно на корме,— коротко сообщает он.

А море продолжает с ревом бросаться на корабль, накрывая волнами корпус от носа до кормы. Танкер то ныряет в пропасть, то взлетает на взлохмаченные гребни. Палубные надстройки превращаются в причудливые нагромождения льда.

И тогда подступает беда. Судно заметно кренится на левый, наветренный борт, там ледяной панцирь растет быстрее, чем на правом. Заметно усиливается качка.

Неожиданно вскрикивает рулевой. В один прыжок возле него оказывается Сурженко:

— В чем дело?

— Судно плохо слушается руля!

Сурженко сам хватается за штурвал. С трудом перекладывает его и бросает через плечо вахтенному помощнику.

— Проверьте линию рулевого привода!

Сурженко пытается вывернуть штурвал обратно, от натуги его лицо багровеет, он что-то хрипло говорит, и я бросаюсь на помощь. Теперь мы вдвоем пытаемся вывернуть штурвал. Тщетно.

А неуправляемое судно в считанные минуты развертывается бортом к волне, и ветер, словно обрадовавшись, что танкер обессилел, обрушивает на него горы воды.

Вскоре Прокофьев, мокрый с ног до головы и запыхавшийся от бега, докладывает:

— Линия в порядке. В румпельном отделении вода!

«Где же течь?» — недоумеваю я. А Сурженко, кивнув мне: «следи за палу-



Оглушенный и слабеющий, он уже не чувствовал боли от впившихся в спину рваных краев пробоины...

бой» — спешит на корму, к рулевой машинке.

В вое ветра и грохоте волн как-то робко раздаются авральные звонки. Одевая на ходу спасательные жилеты, скользя, падая и чертыхаясь, матросы занимают места по тревоге. Передав командование третьему помощнику, я тоже выскакиваю под брызги и ветер. На корме, перекрывая рев шторма, гудит голос боцмана:

— Крылов, Таранов, Патрикеев — на ручную помпу! Туровскому искать течь! Окатываемые ледяной водой Манякин, Романюк и Тимофеев на руках тащат на корму мотопомпу.

А море взбесилось окончательно. Швыряет белой пеной в низко летящие над кораблем тучи, с грохотом бросает танкер из стороны в сторону. Гринченко и Туровский ищут в румпельном отделении течь, чудом удерживаясь на ногах по колено в ледяной воде.

Только через два часа удастся нащупать отверстие в борту: разошелся под ударами волн шов, из шва выбило несколько заклепок.

Гринченко и Туровский остервенело швыряют на шов цементную пасту, а волны не менее остервенело ее оттуда вышибают. «Быстрее, еще цемента!» — кричу я боцману, а тот передает приказ дальше. Бледный, замерзший и измученный Туровский выпрямляется. Его бьет дрожь.

— Ни черта не забудем, — хрипит он, а боцман, сам подобравшись к треснувшей мушкетерке, обрывает матроса:

— Не ныть! Подавай цемент!

Туровский от окрика вздрагивает, быстро выскакивает из помещения и через минуту волокет новое ведро с раствором. Боцман с силой заляпывает цементом дырки, заляпывает, кажется, прочно, но едва он выпрямляется, как новый удар волны, точно пришедшийся по корме, все вышибает, и опять в румпельную, на рулевую машинку, хлещет вода. Еще удар! Туровский, не удержавшись, с полного роста падает в воду.

Гринченко ругается. Неизвестно на кого он рычит, кого ругает, но матросы понимают его с одного жеста: цемент, помпа, доска. Всю ночь боцман с командой воевал в румпельном отделении. Только к утру удалось привести в порядок рулевую машинку, танкер стал слушаться руля и лег на прежний курс.

— Команду разрешите отпустить на

отдых? — спрашиваю я Геннадия Васильевича. Чувствую, гудит голова и ноет от усталости все тело. Капитан молчит. Вцепившись в поручни, смотрит на палубу. Снегопад прекратился, но волны лезут на корабль еще упорнее. Танкер сильно осел на левый борт и похож в своем ледяном панцире на льдину. Я вижу по лицу капитана, что он колеблется. Он понимает: матросы устали, измучены до предела. Но если их отпустить на отдых, танкер, наморозив на свой наветренный борт еще несколько сот тонн льда, просто-напросто перевернется.

— Всю команду на палубу, — негромко, словно отвечая на мой вопрос, приказывает капитан, и я повторяю команду в микрофон судового транслятора.

Через минуту измученные ураганом моряки, на ходу пристегивая страховочные пояса к леерам, кто согнувшись, а кто и на четвереньках, пробираются по скользкой, уходящей из-под ног палубе к левому борту. В руках у каждого лом или топор. С ожесточением они долбят, крошат лед, я с мостика вижу, как в белесом неверном свете утра мелькают лезвия топоров. Я представляю, каково сейчас там: волны со злостью хлещут по одежде, и мороз в одно мгновение превращает брезентовые штормкостюмы в негнущиеся доспехи.

«Полундра!» — кричит Гринченко, и очередная волна накрывает работающих с головой, откатываясь, она тащит моряков за собой.

Восемнадцать часов стоит капитан на мостике. Изредка возле него появляется буфетчица Валя с термосом горячего кофе. Не теряя из вида палубы, почти машинально, Сурженко отхлебывает горячий напиток, потом вдруг спохватывается и предлагает мне: «Согрейся». Не дожидаясь моего ответа, приказывает Вале: «Налейте». Но я энергично отмахиваюсь, — не до кофе! — и Валя, понимающе улыбнувшись, закрывает термос крышкой. Краем глаза я вижу, как она уходит. От ветра, соленых брызг и снега у меня горит лицо и такое ощущение, что в голове гудит примус.

А капитан, кажется, забыл и про кофе, и про меня. Он молчит, но по его подобрешему взгляду, который останавливается то на одном моряке, то на другом, я вижу, что он сейчас со своим экипажем там, на обколке льда, где люди выкладывают последние силы, и там, у дизе-

лей, где старший механик Владислав Сабалис стоит вторую вахту.

— Я, пожалуй, пойду туда,— показываю на палубу, и Сурженко понимающе и ободряюще кивает: согласен.

— Учти, с восьми твоя вахта,— говорит он мне вдогонку.

К восьми я на мостике. Сначала посмотрел на стрелку кренометра. Она постепенно подвигалась к отметке «О». Это значит, что сотни тонн льда выброшены за борт. Танкер выровнялся.

Море бушует по-прежнему.

Бросил взгляд на экран локатора — экран пуст, Геннадий Васильевич вдруг вспоминает про кофе.

— Пусть постоит четвертый помощник, а ты спускайся ко мне. В термосе, кажется, осталось.

Голос у капитана бодрый, словно и не было бессонной ночи и этих восемнадцати часов вахты.

Пока я переоделся в сухое, пока ловил катающуюся по полу пепельницу, прошло минут десять. Войдя к капитану, остановился. Сурженко, сидя в кресле, спал.

4. Ветер, словно выбившись из сил, затих. Море успокоилось, едва дышит.

Где-то слева от нас — колыбель и столбовая дорога циклонов — Алеутские острова. Перекресток холодного дыхания Аляски и теплых течений Тихого океана. Перекресток штормов. Но нам повезло. После изрядной трепки, заданной нам на выходе из Сангарского пролива, небольшая волна в борт кажется колыбельной песней.

Алеутские острова... Точки на океанской карте, но каждая из них — история.

Здесь, на одном из островов, умирал от цинги командор Витус Беринг. А какие удивительные по красоте, мужеству и упорству людей истории таят в себе бухты, заливы, проливы! Их имена говорят сами за себя. Бухта Погромная... Мыс Аспид... Пролив Погибший... Отсюда Джек Лондон привез сюжеты «Морского Волка» и «Северной Одиссеи».

Когда-то зверобойные шхуны гонялись в этих широтах за стадами котиков, а Волк Ларсен, вооруженный курковым пистолетом и дубиной, хладнокровно ломал души и кости строптивым матросам.

Теперь иные времена. Мы убеждаемся

в этом, едва выходим в Берингово море. Чуть не врезавшись крылом в фок-мачту, над нами разворачивается американский гидроплан. На его борту четкая надпись «Navi SA 220». Это американский самолет с военно-морской базы в Дайч-Харборе. Прилетел со стороны острова Уналяска.

Мы спокойно держим курс. О визите непрошеного гостя осталась только пометка в судовом журнале. На танкере не до него. В каютах царит праздничное настроение. Греются два общественных уютюга. В гладильной очереди. За горячей водой очередь. Каждый помнит: завтра — 8 Марта.

О празднике, казалось, забыли только два человека, два Валерия — Хабаров и Турченко. Весь переход они заняты своим изобретением — гирорулевым.

Еще в мореходном училище, когда читали лекции на отвлеченные темы, Валерию Хабарову становилось не по себе. Вот электротехника — другое дело! Тут он не пропускал ни слова. Все ему казалось, что можно что-то переделать, изобрести более лучший прибор, более добротный и надежный.

Веселый и общительный блондин, когда зарывался в свои схемы, становился мрачным, нелюдимым. Он все время что-то искал, менял схемы приборов, испытывал. Не работало — начинал сначала. При его неторопливом характере многое казалось таким простым, что ковырни, и все в порядке. А на деле эта кажущаяся простота оборачивалась разными премудростями, незаметными, как подводные камни, и Валерий мрачнел.

Вот и теперь два Валерия, несмотря на всеобщую предпраздничную суету, закрылись в токарной мастерской и никого не пускают. Меня все же пустили.

— Как дела, ребята? Вы не собираетесь отмечать женский праздник?

Вопрос я задаю с умыслом: Хабаров — вожак судовой комсомольской организации, а какой праздник будет праздником, если за него не возьмется комсомольцы? Однако взъерошенный, перепачканный маслом Хабаров упорно не желает слышать моих намеков. Зато Турченко моему приходу явно обрадовался.

— Хватит, Валерий Михайлович. Уже пятый раз за день схему перепайваем, — отирая пот со лба, просит он. — Надо перекурить.

— Значит, пять путей прошли —

осталось на пять меньше, — сердито отвечает, даже не поднимая головы от прибора, Хабаров, а Турченко виновато пожимает плечами: видали, мол, каков? Я ухожу, понимая: Валерия пока не вытащить.

У двух Валериев на судне есть коварный неприятель — повар Чумаченко. Когда друзьям не везет, корабельный кок веселеет:

— Вот, хвастались, судно автомат поведет. А где он, изобретатели? Все на матросских ручках продолжаем ехать, а?

Хабаров и Турченко молчат. А Чумаченко продолжает наступать.

— На собрании, значит, слово комсомольца не расходуется с делом, а как доходит до дела, так получается пшик? И за что кормлю?

Хабаров крепится, но в конце концов раздраженно бросает:

— Вахтенный! Уберите мусор — мешает.

Но повара каким-то «мусором» из себя не выведешь. Он непоколебимо, как волнорез, гудит дальше:

— Умеют некоторые хвастуны с грехом пополам лампочку в патрон ввернуть, но когда дело доходит до более сложного...

Тут не выдерживает даже флегматичный Турченко. «Ввернуть лампочку» — самое оскорбительное для электриков, это знают в команде все. Кок переступил «табу», и Турченко, грозно приподнявшись, предлагает коку «сделать вид, чтобы его не видели».

У Турченко второй разряд по тяжелой атлетике. Чумаченко это прекрасно знает, предупреждение на него действует.

предвкушая ответ, спрашивает вахтенного помощника: «Как?»

И вахтенный помощник, добродушно улыбаясь, отвечает: «Полный порядок».

Чумаченко потерпел со своим скепсисом столь сокрушительное поражение, что закрылся в своем камбузе на два крючка и ни на какие мольбы и угрозы выходить из убежища не желает. Но мы-то знаем, что дело не в страхе кока перед кулаками Турченко. По давней традиции каждый изобретатель в качестве вознаграждения получает персональный торт. Традиция, как говорят моряки, «железная», и Чумаченко втайне от всех колдует над своим «изобретением». Вечером Гринченко как старейший член экипажа вручает каждому Валерию по роскошному тарту с очередным экзотическим названием. Турченко торт достается поменьше. «Опять козни?», — возмущается Хабаров, но Чумаченко объясняет: «Автору побольше, соавтору — поменьше».

Кроме Хабарова, на судне еще один счастливчик — боцман Гринченко: его рабочая бригада получила основательное подкрепление — трех матросов, которые еще вчера стояли за штурвалом. Он, Гринченко, первый за праздничным столом произносит речь. Здравницу, так сказать, в честь изобретателей-именинников. А потом слово берет Чумаченко. Его речь предельно кратка:

— Ешьте на здоровье... Придумаете еще одну адскую машинку — испеку новый «Антик-Марен».

«Адскую машинку» изобретатели пропустили мимо ушей. Будет время — отквитаемся! — говорит воинственный вид Хабарова.

...До встречи с рыбацкой флотилией осталось менее 300 миль.

5. Готовимся к работе: нам предстоит забункеровать и снабдить водой рыбацкие сейнеры в необычных условиях — на плаву. Экипаж занят проверкой наливного оборудования — шланги, насосы, всевозможные клапаны и вентили.

Сегодня день электриков. Они поглядывают на всех свысока, отпускают шуточки. Им прощают все: смонтированный ими гирорудевой наконец-то заработал и сейчас ведет корабль. Счастливый Хабаров чуть ли не каждый час поднимается на мостик: его автомат ведет судно точнее рулевого, и Валерий, заранее

6. Берингово море — одно из самых неласковых на земном шаре. Встречая нас, оно своему скверному характеру не изменило.

Первым на танкере после службы погоды знает о надвигающемся шторме кок Чумаченко. Об этом ему напоминают вдруг ожившие бачки, кастрюли и тарелки. Моряки предштормовую качку начинают ощущать позже, а кок к тому времени спешно крепит всю посуду проволокой. Крепит все, что может двигаться, опрокидываться и выплескивать из себя содержимое. Хлопотная работа у кока!



С ожесточением они долбят, крошат лёд, а с мостика вижу, как в белесом неверном свете утра мелькают лезвия топоров.

Чумаченко негромко посылает нелестные замечания в адрес «небесной канцелярии», но, завидев меня, замолкает. «Как дела?» Чумаченко делает широкий, театральный жест, обводя рукой бряцающие, ползающие кастрюли. «Пока вальс, а будет гокак»,— бодро говорит кок, но в его голосе я слышу грусть. Я опять обхожу судно. И опять танкер кланяется волнам все ниже и ниже, как старым и хорошим знакомым. Опять волны колотят судно по бортам, будто рассердившись на него за что-то. Опять тошнотворные движения: вверх-вниз, справа-налево. Болтанка надоела страшно. За две недели перехода ни одного спокойного дня.

С трехдневным опозданием подходим к цели нашего рейса. Берингоморская экспедиция, которая ведет промысел рыбы невдалеке от берегов Аляски,— одна из крупнейших в мире рыболовных операций. Еще утром мы видели десятки огоньков, они казались совсем рядом, а сейчас, днем, локатор показывает сплошной лед и ни одного траулера на горизонте не видно.

Лед, обильно украшенный фантастическими замками, башнями, пирамидами, только кажется сплошной массой. На самом деле он изрезан узкими каналами и полыньями. В них-то и спрятались от непогоды юркие рыбацкие суденышки.

Мы тоже входим в лед и выбираем для стоянки крупную полынью. Качка здесь значительно слабее, но нас это радует мало. Предстоит снабдить топливом и водой целую флотилию, причем каждый из траулеров берет не больше 15—20 тонн топлива, а наша «Советская нефть» просто не приспособлена для таких мелких операций.

Это понимаем мы, это понимали и те, кто нас послал. Но нас все-таки послали, потому что так надо. Иначе будет сорван план добычи рыбы во всем бассейне.

К нам в полынью пробралась первая группа средних рыболовных траулеров. СРТ — как их обычно называют, подошли к танкеру.

Разница между нашим судном и траулером слишком велика. Несмотря на кранцы, корпуса судов временами сталкиваются. Слышится скрежет и стон. Трапы, перекинутые с танкера на траулеры, мотаются, как качели, и надо обладать цирковыми способностями, чтобы по-пасть с корабля на корабль.

Спускаюсь на один из траулеров.

Приземистый, ходкий и маневренный кораблик с устремленной вперед конструкцией и приподнятой носовой частью. Управление им автоматизировано.

Семь-восемь месяцев траулеры ходят по аляскинскому «огороду», собирая его рыбный урожай. Пропахшие крепким запахом рыбы, с палубами, расцвеченными всеми цветами радуги от рыбной чешуи, причудливых кораллов и водорослей, эти труженики живут в вечной качке, в ежедневном споре с морем.

Рыбаки радостно встречают нас — своих гостей и снабженцев — и готовы поделиться с нами всем. С траулера «Сахалин» на танкер доставили несколько фильмов и их непрерывно крутят в столовой команды. Смотрим «Понедельник — день тяжелый».

Сегодня среда. Для нас тоже тяжелая: идет бункеровка — так называется передача топлива с танкера на траулеры. Устали изрядно, но и фильм посмотреть хочется. Когда еще будем во Владивостоке!

Мы стараемся отблагодарить за гостеприимство. Все душевые и ванны танкера заняты. Наши собратья-рыбаки плещутся, как дельфины. Даже боцман Гринченко, ревнивый блюститель чистоты и порядка, лукаво щурясь, заглядывает то в одну, то в другую душевую.

— Как?

— Как дома побывали,— раздается в ответ.

— Боцман, пивка бы холоденького...

Когда один из наших матросов попытался заикнуться, что придется драить помещения после такой бани, боцман, крайне редко раздражающийся, не сдержался:

— Замолчи... щеня...

— Как хотите,— обиделся матрос,— но от уборки увольте.

— Может, и с судна? — сурово спросил Гринченко...— Можно...

На матроса надвинулись другие парни, и он стал оправдываться: «Так ведь вон что... Я не против того. Пусть моются». Признаться, этот эпизод меня порадовал.

7. На этот раз синоптики не ошиблись, на что в душе каждый из нас надеялся. Синоптики чаще всего ошибаются, когда предсказывают хорошую

погоду. А насчет плохой — их предсказания точнее.

Лед вокруг судов ожил. С треском, похожим на винтовочные выстрелы, ломаются льдины и, показывая синеватые бока, ныряют под днище судна. Стоянка становится опасной. Играю аврал. Танкер и траулеры поспешно выходят в открытое море. И сразу на нас обрушиваются ветер и крутая волна. И сразу тесно становится в эфире. Переговариваются между собой вахтенные штурманы, начальник экспедиции требует докладов о состоянии судов и самочувствии экипажей. Радисты выходят на связь и коротко передают:

— Все нормально!

На это «нормально» смотреть жутковато. Траулеры так кренит, что думаешь, поднимутся ли они с борта на ровный киль? Но все действительно нормально. Остойчивые суденышки, они, как ваньки-встаньки, стремительно переваливаются на другой борт. И так беспрерывно: с борта на борт, слева-направо.

Шторм начинает стегать колючими снежными зарядами, а то и ледяной шрапнелью. Волны с рыком лезут на палубу, оставляя ледяной наст. Ветер уже не свистит, а ревет.

Очень скоро ветер достигает ураганной силы, более шестидесяти километров в час. Вода и снег.

Наступает тьма, и в корабельных помещениях зажигаются лампочки. Все спасательные и крупные транспортные суда, в том числе и «Советская нефть», переходят на непрерывную радиовахту, на аварийную шестисотметровую волну.

С подветренного борта в полукабельтове от нас держится с десяток траулеров. Там, за корпусом нашего судна, волна слабее и ветер тише. Все крупные суда прикрывают своими бортами младших братьев. Только спасатели бороздят море во всех направлениях, готовые прийти на помощь попавшим в беду.

Смотришь на эту адскую карусель, в которой суденышки вертятся, как щепки в водовороте, и приходят на ум слова: «Господи! Неужели в мире так мало мучеников, что ты еще создал моряков и рыбаков?»...

Сурженко хмур. Под стать погоде. В ответ на приветствие что-то бурчит и, отвернувшись к окну, долго смотрит, как бегут взлохмаченные, седые волны, сшибаются, взметывая пену и брызги. Лицо

у него осунулось, губы сжаты, а под глазами, воспаленными от бессонных ночей и ветра, черные круги. Сдал капитан во время рейса.

— Падает,— кивает он на барометр.— Черт знает что! Хоть таями его поднимай.

Он подошел к барометру, постучал пальцем по стеклу, стрелка задрожала, поползла, но выйти за участок шкалы «шторм» не пожелала. Сурженко широкими шагами, покачиваясь, промерил рулевую, с силой растер виски. Бросил зло:

— Дудки! Пойдемте говорить с экипажем.

— О чем? — спрашиваю.

— О бункеровке, конечно,— ответил Геннадий Васильевич, и я в его голосе уловил нотки недоумения. О чем, мол, еще говорить с экипажем, как не о бункеровке?

Я удивился, но промолчал. Какая бункеровка, когда море треплет не только траулеры, но и наш танкер?

Только потом я понял, что на мостике Геннадий Васильевич в деталях продумывал дерзкий план. Оттого и не замечал никого.

В столовой команды капитан говорил скупое и жестко. Если ждать погоды — трудно сказать, когда она наладится — рейсовое задание будет сорвано. Предложил: линеметательным аппаратом забросить на морозильщик трос — морозильщик побольше траулера, — тросом вытянуть шланг. Бункеровку вести на малом ходу, чтобы избежать столкновения судов. «Именно на ходу, — подчеркнул капитан. — Иначе порывом ветра морозильщик бросит на танкер».

Загудела команда. Геннадий Васильевич послушал, о чем шумят, и сказал:

— Риск?... Понимаю. Но... Знаете, как говорят в народе? Волков бояться — в лес не ходить!

— В море не ходить! — выкрикнул кто-то из матросов.

Смех разрядил обстановку. В затею капитана поверили.

По радио связались с руководством экспедиции и капитанами ряда морозильщиков, убедили их, что большого риска нет. Главное, конечно, чтобы рулевые точно выдержали расстояние между судами. А расстояние очень маленькое...

На предложение первым откликнулся капитан «Сахалина». С четвертой попытки линь оказался на палубе морозильщи-

ка. «Тяни-и!» — закричал в мегафон боцман Гринченко, и вслед за линем к морозильщику потянулся шланг. Через час шланг запульсировал. Получилось!

День за днем старается укачать нас море. День за днем, словно поводырь со слепым, ходит наш танкер то с одним, то с другим рефрижератором, связанный с ним шлангом. Ходят по кругу, это наиболее удобная форма совместного плаванья. А ветер воет, ноет, и нет больше сил проклинать погоду. Подступает тоска. Спасенье только в кают-компании или в красном уголке, где можно услышать все: и невероятные морские истории, и хитроумные международные комментарии, и последние семейные новости.

Черт с ней, с погодой! Мы все-таки не уступили ей. Пока она не позволяла бункеровать малышей, мы залили топливом и водой шесть морозильщиков.

8. Шторы окон кают-компании плотно закрыты.

Чай давно выпит, все, что отпущено, съедено, но никто не спешит покинуть теплое и уютное местечко на судне. Так уж заведено: после вечернего чая, если нет кино или лекции, моряки засиживаются допоздна. Слушателей и рассказчиков хоть отбавляй.

Сегодня среда и, согласно распорядку дня, должно быть кино. Но все фильмы просмотрены по нескольку раз. И в кают-компании, вопреки обычаю, редкая тишина. Объясняется она просто: за месяц «в гостях» передали только три четверти груза. Подвели синоптики: предсказали хорошую погоду. Поверив, мы надеялись, что за три-четыре дня сдадим оставшееся топливо и воду. Увы! Хорошая погода прошла стороной.

В море болтанка, а в кают-компании похоронная атмосфера. Осточертели нудные вахты, бесконечное «наведение порядка» в подшкиперских, где и без того все на своих местах, надоели ежедневные подкрашивания переборок, драйка металлических частей...

Команда на меня посматривает косо. Я отвечаю за все.

Экипаж понять нетрудно, а кто поймет меня!

С секретарем судовой партийной организации Владиславом Юрьевичем Сабалисом боремся как можем с тоской. Вла-

дислав Юрьевич в каютах моряков частый гость. Хожу «в гости» вместе с ним и я.

В одних каютах лениво беседуют по вечерам, в других — уткнулись в книги, кое-кто прячет тоску за сочинением радиogramm домой. А что делать? В море ни свежих журналов, ни газет тем более, а уж о телевизоре и говорить не приходится...

В пору бесцельных болтанок, как сейчас, мир сужается до размеров судна или даже каюты, когда только вой ветра и тягучие, похожие один на другой, как братья-близнецы, дни.

И вдруг...

В кают-компанию шумно входит Прокофьев:

— Пляшите! Прогноз на завтра — смена ветра!

Новость мгновенно преображает людей. Первым вдруг спохватывается и уходит боцман Гринченко, еще минуту назад с тоской жаловавшийся на безделие. Теперь у него спешное дело: срочно составить новый план работ на завтра. На то счастливое завтра, когда, по заявлению синоптиков, должен смениться ветер, а значит — и погода.

Я тоже покидаю кают-компанию, у меня тоже вдруг обнаружились срочные дела. Я иду по коридору — все каюты открыты настезь. Заглядываю в одну — Домбровский. Непоседливый Домбровский, который, казалось, должен был плясать от радости, вдруг ворчит:

— Обрадовались черти. Позаниматься не дадут.

У него в руках «Геометрия». Домбровский готовится поступать в мореходное училище.

Старший моторист Артеменко, парень с виду малоразговорчивый и замкнутый, тоже не торопится из своей каюты. Упершись ногами в переборку, он рисует. На полотне ревущее море и разбросанные по нему суда. А на переднем плане тот самый траулер, который завтра будет бункероваться первым. Будет, если не ошиблась служба погоды.

За переборкой, в рядом расположенной каюте, идет яростный спор о том, когда мы ляжем на обратный курс.

Да, у каждого свое...

Поднимаюсь на мостик — капитан уже там, у радиотелефона. Переговаривается с руководством экспедиции о завтрашнем дне.

На палубе, вижу, Гринченко придирчиво осматривает шланги, кранцы... Начинается аврал. Необъявленный, стихийный аврал. Надоело безделье!

Вот и пришло «завтра». Холодный ветер, он действительно сменил направление, но от этого не потеплел и не ослабел, — обжигает отогревшиеся за последние дни лица.

В адрес «службы погоды» летит очередной заряд нелестных замечаний.

И вдруг веселят лица. Ветер стал стихать. Боцман бодро покрикивает на подчиненных. Начинаем перебрасывать шланги на траулер.

— Трави!.. Чуть потрави... Еще немного... Промазали... Растяпы!

Однако в голосе Гринченко нет злости.

Начинаем сначала. И так два часа. Наконец ликующий голос:

— Есть!

Боцман — старый служака, вопреки обычаю, благодарит каждого моряка в отдельности и отпускает передохнуть в тепло.

Внизу, в жарком вестибюле с ослепительно сияющими лампами, охватывает невыразимое блаженство. Прижимаемся к переборке машинного отделения и ощущаем, как расплываются в улыбке замерзшие губы. Горячий металл вливает тепло, ласкает окоченевшие руки. Какое счастье!

Вбегает Домбровский. Не обращая внимания на старших, он хриплым голосом кричит о том, что они тоже люди и тоже не прочь погреться, а эти, то есть мы, расселись, как на южном берегу Крыма.

Шланг лопнул!

— Всем наверх!

Натягивая на ходу мокрые ватники и пахнущие паром рукавицы, матросы выскивают на палубу.

Я оглядываю небо: мутное, белесое, и мелкие снежинки, предвестники пурги.

По лицам моряков нетрудно догадаться, что устали они, но долг заставляет их опять тащить, травить и снова вытаскивать на палубу мокрый линь и тяжелый шланг.

Работаем час, второй... И тут случилось чудо: когда казалось, что никто уже не сможет поднять руки, к нам словно пришло второе дыхание. Забыты и тепло кают, и качающаяся палуба, и злой со снегом ветер. Тело становится легким,

зрение цепким. Три, четыре, пять раз мы заводим шланги и вот — долгожданный хриплый голос боцмана: «Есть!»

9 Час назад закончили бункеровку последнего траулера. Представители экспедиции, оформив документы, спускаются в катер. За ревом сирен не слышно прощальных криков. Только по раскрывшимся ртам я догадываюсь, что нам желают счастливого возвращения домой.

В каюте у меня на столе исписанная ученическая тетрадь. С поручениями от рыбаков. Чтобы их все выполнить во Владивостоке, мне потребуется не меньше двух недель.

А под столом два огромных мешка. Это письма.

Почти одновременно со мной на мостик поднимается начальник радиции Игорь Кручинин. Подойдя к капитану, шутиво требует:

— Пляшите, Геннадий Васильевич!

Сурженко, скрывая смущение, делает что-то похожее на «па» и берет радиогамму. По лицу вижу — добрая весть.

— Прочтите, Яков Петрович, — капитан протягивает радиогамму мне.

Пробегаю глазами: экипажу «Советская нефть» по итогам социалистического соревнования за первый квартал присужден переходящий вымпел Совета Министров СССР и ВЦСПС.

— Организуйте митинг, Яков Петрович! — Сурженко с трудом скрывает радость. Это все-таки заслуженная победа!

Судно... Моряки часто называют его своим вторым домом. Родным домом. Вот почему с такой любовью и заботой относится моряк к своему кораблю, добрая слава о котором — и его собственная слава.

И если судно — дом родной, то палуба — зеркало, в котором отражаются все заботы о нем. Вот и сейчас, когда рабочий день окончен, снизу доносится дробный перестук молотков, скрежет скребок о металл. Это комсомольцы решили в нерабочее время подготовить корабль к техническому осмотру.

Приятный слабый зюйд-вест, солнце вспыхивает на верхушке волн, высвечивает ярко окрашенные части палубных надстроек. Дышится легко. Танкер, плавно покачиваясь, идет полным ходом. Идем домой!

Но солнце и спокойное море были только половину пути. А потом океан покрылся рябью, словно какой-то великан провел по его поверхности шваброй, и заговорил, затрещал эфир на всех языках, предупреждая о надвигающемся циклоне. «В наступающие сутки...» Знакомая песенка.

А небо, серое и холодное, уже затянулось тучами. Волны опять в белых пенных шапках, сбегаясь, кажется, со всего океана, чтобы наброситься на танкер.

Скорость сразу падает.

Капитан отдает распоряжение принять в танки несколько сот тонн забортной воды — для балласта.

Ураган с оглушительным грохотом накатил на танкер седые валы, с ухажущими раскатами разбил их о корпус судна и смешал с ветром. Тысячи соленых ключих брызг с громадной скоростью пролетели над мостиком, забарабанили в смотровые стекла.

Когда бушует ураган — одно утешение: рано или поздно, но он должен кончиться. Весь вопрос — когда? Многие любят строить на этот счет прогнозы, но редко кому удается угадать. А Горютский угадал.

— Как море играет! — сказал он с восхищением, едва я вошел в рулевую.

— Лучше бы было, если бы оно отдыhalo, — говорю.

— Ничего, завтра перестанет.

— Вам что, сорока на хвосте принесла?

Горютский насмешливо косит глаза.

— Видите, — говорит, показывая на запад, — закат розовеет. Ждите смены ветра. А там и дома.

Но я, сколько ни напрягаю зрение, никакого розового заката не вижу. Сплошная серая пелена застлала весь горизонт.

В кают-компании тарелки ползают по мокрой скатерти. Ужинаем «по-собачьи»: каждый берет тарелку в руки, наливает немного борща, отпивает, словно из кружки, а уж потом ложкой отправляет в рот все остальное.

Два с лишним месяца мы в море. Больше семидесяти суток не видели ничего, кроме неба и моря.

Да еще болтанка.

К немалому моему изумлению, предсказания Горютского сбылись. На следующий день солнце вынырнуло из моря, и над нами заалели нижние кромки кудреватых облаков. Порозовели белые над-

стройки танкера, урагана как не бывало. Правда, бежали еще некрупные волны, но бежали как-то робко, неуверенно, словно перепуганные зверьки. «Советская нефть» рассекала их резво и уверенно.

Сегодня 1 Мая.

Отовсюду слышатся поздравления и традиционные морские пожелания — иметь всегда полфута под килем. Одеты по-праздничному. Даже вахтенные матросы в отглаженных робах. Даже наша добрая старая «Советская нефть», обмытая и подкрашенная, помолодела.

Вечером торжественный ужин. Зачитываются поздравительные радиogramмы от Управления пароходства и парткома, от друзей и коллег с танкеров «Азербайджан» и «Вилюйск» и наших соперников по соревнованию — экипажа танкера «Москальво».

Наступает последняя ночь рейса. Над нами висит огромная желтая луна. Отблеск ходовых огней в мелкой волне, за кормой — светящийся след. Тишина и покой. Только перестук дизелей, да мерные шаги вахтенных на мостике нарушают ночное безмолвие. Спать хочется, и я стою и жду, когда на горизонте появятся огни Владивостока. Оглядываюсь и вижу вокруг почти всех свободных от вахты моряков. Только не слышно обычных шуток и смеха. Моряки молча всматриваются туда же, по курсу корабля.

Склянки бьют полночь. И почти сразу удивленно и радостно кричит вахтенный матрос:

— Маяк Поворотный!

Маяк — наш старый друг — мигнул, словно дал разрешение на вход в родной порт. Заходите, мол, бродяги! Заждались вас дома!

...Когда уходили из Владивостока, по земле бежала холодная поземка — предвестница метелей. А сойдя с борта танкера, я с удивлением почувствовал в воздухе сладковатые запахи весны.



ЖОРИК

Минувшим летом мне довелось побывать на пограничной заставе, где служит мой старый приятель Шота Васильевич Курдованидзе. В военном городке я невольно обратил внимание на большого черного поросенка. Его непомерно длинная морда, горбатая спина и отвислый зад явно выдавали в нем дикаря.

— Неужели вепрь? — спросил я, хорошо зная, как трудно приручаются эти животные.

— Да, самый настоящий, только теперь домашний, — ответил Шота Васильевич и тихо позвал: — Жорик! Жорик!...

Кабан быстро затрусил к нам. Курдованидзе почесал его за ухом, и Жорик доверчиво развалился у наших ног. Его черные, словно бусинки, глазки блаженно закрылись.

— Как же Жорик «пропался» в гарнизоне? — поинтересовался я.

Шота Васильевич рассказал...

Было это ранней весной. Разразились грозные ливни. За несколько часов вода в реке резко поднялась. Незатопленной оказалась лишь небольшая вышка, на которой стояла наблюдательная вышка. Зверя всякого возле нас собралось: и зайцы, и шакалы, и дикие коты-камышатники... И что удивительно: никаких «старых счетов» между собой — каждый спасал свою шкуру. Прибило к островку и стадо кабанов.

Однако вепри как только почували, что на вышке люди, сразу же бросились прочь. Сначала поплыли матерые секачи и самки, за ними поросята. Один, видимо, самый слабый, отстал и завяз в иле. Визжит, а выбраться никак не может. Ефрейтор Антонов не вытерпел, спустился и выручил беднягу. Поднялся с ним на вышку, снял с себя бушлат, завернул поросенка.

Сменился наряд. Окружили Антонова в сушилке ребята и стали сообща решать судьбу беспризорника. С чьей-то легкой руки окрестили дикаря Жориком. Оборудовали ему в деревянном складе жилье. Повар Петренко взял Жорика на довольствие. Принесли поросенку миску холодного супа.



Прошла ночь. Утром Петренко понес новоселу завтрак и опешил: поросенок исчез. Решили, что сбежал, — как-никак дикарь. Однако, Жорик отыскался. Ночью он забрался в конуру к своей соседке — щенку Ракете и там, подсунув свой пяточок под шубку хозяйки, прикорнул. То же повторилось в следующую ночь. А потом Жорик окончательно обосновался в конуре.

Жорик свободно заходил в казарму, на кухню, а то и в канцелярию. Нередко бывало так: поднимутся пограничники по тревоге — и он за ними на участок. Бежит, не отстает. Они возвращаются — и он следом. Сменяются ребята: «Молодец, Жорик, — хлеб недаром ест». Короче говоря, по душе пришлась ему солдатская жизнь.

Любил поросенок побродить и по камышам, что буйно росли рядом с заставой — родная стихия. Но стоило кому-либо из пограничников позвать: «Жорик!» — и он бежал со всех ног...

Через год мы снова встретились с Шотой Васильевичем. Вспомнили о Жорике. Оказывается, его уже нет на заставе. Ушел все-таки. Но осталась эта фотография.



Фантастический рассказ

Э. ЗЕЛИКОВИЧ

Заглянув в устав «ОМВП!», я даже крякнул от удовольствия и мгновенно вписался в великое содружество.

Ведь имеет же трудящийся право, черт побери, забраться куда-нибудь подальше, в глушь, допустим, в дебри Памира! Особенно если ему взбрело на ум сотворить в тиши эдакий, скажем, экзотический опус.

Но далекий вояж — дело сложное. А на виллу «ОМВП!» — очень простое. Упрятанная в парке вблизи города, она успешно имитирует край света. Полчаса езды — и вы исчезли для всех и вся. Улетели за тысячи километров. Памир вблизи своего дома!

Это вам не какой-нибудь «дом творчества»: в «ОМВП!» запрещены посещения, нет радио, нет телевидения. И ни одного телефона, за исключением комендантского! Накось, дотянись теперь до меня. Разве только письмами и телеграммами. Нет и общей столовой. Вообще никакой. Можете сами сколь угодно упражняться на кухне в кулинарном искусстве.

Зато у себя в комнате каждый волен делать, что ему заблагорассудится. Кувыркаться на диване. Сочинять опусы о йогах. Даже думать. Но бесшумно! Тишина — конституция виллы. Поистине название «ОМВП!» — «Оставьте меня в покое!» — точно до пятого знака. Гениальное изобретение!

70 Кто придумал его? Тот самый Борис Федорович, соседом которого мне суж-

дено было оказаться. Работает он в каком-то НИИ. В «ОМВП!» слывет, минимально выражаясь, чудачком. Говорят, ему мало стало целого института — и здесь еще какие-то «экспериментики» в одиночку гонит. Впрочем, меня это все не касается.

Итак, с легкостью необычайной перемахнул я в свой обетованный квази-Памир. И мечта моя об опусе сразу же шикарно... провалилась.

Как же это случилось?

Представьте июньское утро, наилучшее из всех возможных. В окна кивают ветви старых лип, настроение — нестерпимо блестящее. Беру лист и вывожу крупно надпись:

ИНДИЙСКОЕ УЧЕНИЕ ЙОГА. Краткий обзор систем йоги: хатха-йога, карма-йога, бакта-йога, раджа...

«Та-та, та-та, та-та-та...» — запело в соседней комнате. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...

Затем встреча в коридоре:

— Я не беспокою вас, уважаемый Михаил Семенович? — с едва заметной усмешкой спрашивает сосед.

— Отнюдь нет, уважаемый Борис Федорович, — отвечаю я с серьезнейшим видом, и мы расходимся.

Встречи повторяются, автоматически следует тот же вопрос, дается тот же стандартный ответ. А за стеной все нудит: та-та, та-та, та-та-та... Приглушенно, очень тихо, ничего не скажешь. Но и комар пищит очень тихо.

Откровенно говоря, на третий день это стало приедаться. Какая-то нелепая вокальная разноголосица, невыносимо фальшивый музыкальный винегрет: обрывки вальсов Штрауса перебивают венгерские танцы Брамса, в менюэт Боккери ни вклинивается «Лебедь» Сен-Санса, «Цыганский барон» глушит арию Ленского, «Подмосковные вечера» наплывают на «Сердце красавицы», а затем сами тонут в бурном финале второй рапсодии Листа.

Так вот каковы они, эти экспериментики!

В антрактах я прибегаю к очистительной имажинации: представляю себе, что играю на концертно «Письмо Манон», серенаду Брага или «Хиндустан». И когда серебрястые звуки изгоняют из головы тошнотворный осадок, продолжаю набрасывать заметки к своему труду:

«...происходит же слово «имагинация» от латинского «имагиацио» — «воображаю». Обращает на себя внимание корень «маг» в этом слове. Индусы...»

«Эй-да тройка-а, снег пушты-ы-й...» — просачивается сквозь стену.

«...обозначают,— стараюсь я не упустить хвостик мысли,— мир воображения, иллюзии, фантазии словом «майя», которое в персидском языке перешло в «мага», а отсюда — в «магия». Поразительных...»

«Ты забыл край милый сво-ой...»

«...поистине «магических» результатов... но чем я виноват, что он забыл свой милый край... достигают марокканские дервиши именно развитой силой воображения. Натренирована же она может быть до невероятных пределов, до степени сновидения, искусственно вызванного в бодрственном состоянии и контролируемого...»

«Фигаро здесь, Фигаро там...»

«...волей... пусть будет лучше там... Заметив, что греческое слово «фантазия» обозначает «воображение»...»

«...но берегись любви мо-о-ей!»

Фу ты, дьявол! Да не боюсь я твоей любви!

С утра четвертого дня меня порадовал рвущийся в бой смелый «То-ре-адор...», быстро сменившийся заклинанием «Ра-асска-жи-ите вы ей, цве-еты мо-ои-и...» В районе диафрагмы у меня что-то зашевелилось. Как в кастрюле с закипающей водой. Подобный же тревожный симптом начал вызывать и запрограммированный вопрос, срабатываемый с милой улыбкой: «Я не беспокою вас, уважаемый Михаил Семенович?»

Чуть прыгающая походка. Щуплая фигурка, увенчанная курчавой белой шевелюрой. Моложаво-розовое лицо с назойливыми черными глазками.

Экий благообразный старичок! Впрочем, ему не более пятидесяти. Станный все-таки субъект... Дикие эксперименты, непонятное поведение. В комендантской записан как биофизик, руководитель лаборатории. К сожалению, сидит гораздо больше здесь, чем там... А с этим дурацким вопросом надо все же покончить.

И при ближайшей встрече в коридоре я первый поспешил нажать гашетку:

— Я не беспокою вас, уважаемый Борис Федорович?

Он бросил острый взгляд и стал внезапно серьезным. Затем чуть отвернулся в сторону, сдвинул брови, как бы соображая что-то, и вновь преобразился — глянул уже с улыбкой, даже смущенной.

— Гм... Заслуженный упрек. Мне-то ведь с вами необычайно повезло, получаю исключительную помощь от вас за... за мое хамство. Да еще намерен нагло предложить вам... как бы это сказать... — нарочито замялся он в ожидании моей реакции на его слова.

Ах, вот как! Вот он куда гнул, хитрец! Сейчас выведем на чистую воду этого «загадочного» экспериментатора. И я сделал второй шаг:

— Принимаю за глаза любое предложение.

Он явно растерялся. Сейчас получит мат.

— Да-а? Гм... Благодарю! Но, видите ли, должен честно предупредить... гм... Короче, честь имею предостеречь: старый маньяк, одержим дикими идеями, словом, сумасшедший. Все это по показаниям свидетелей, которых могу представить. Да вы и сами быстро убедитесь. Устраивает это вас?

— Вполне. Давно мечтаю встретиться с сумасшедшим.

— Спасибо, к вашим услугам. Приятно иметь дело с журналистами — неплохо соображают, даже на хамство не...

— Какое хамство?

— Ну как же! Забился трудящийся в «ОМВП!», чтобы заняться в тиши тонкой творческой работой...

— Почему вы знаете, дорогой товарищ, тонкой или...

— Полагаю, что обзор систем йоги достаточно...

Вот так раз...

— А тут, извольте радоваться, пичкают из-за стены какой-то какофонией, особенно мучительной при ваших музыкальных способностях...

— Отнюдь нет. Откуда вы это взяли, если не секрет?

— Секрет? Да это яснее ясного! Тональная репродукция моей собственной идеоиндукции, которую я извожу вас четвертый день, при моих-то талантах должна быть, естественно, нестерпима для человека, превосходно воспроизводящего имажинационно на концертино...

Черт побери! «Яснее ясного!»

— ...например, «Письмо Манон», «Хиндустан», серенаду Брага..

Гром и молнии!!.. Вот тебе и безобидный чудаковатый старичок!

— Да что мы стоим в коридоре? Пожалуйте ко мне.

Мат, кажется, получил я.

— Прошу в это кресло. Магическое.

Он направился к стоящему у окон длинному столу-верстаку, заваленному всевозможными электрическими материалами, аппаратурой, устройствами, приспособлениями. Отсюда и валил коромыслом музыкально-вокальный чад.

— Выключим эту божественную музыку... Я вынужден был, и приношу за это свои извинения,— продолжал он сбивчиво, скороговоркой,— испытывать на вас разрабатываемый особо чувствительный рецептор с тонкой дифференциацией. В НИИ невозможны подобные исследования — глушит психический шум, прямо захлебываешься в хаотической мешанине окружающей имажинации.

Так вот оно что!..

— Я так и заявил директору — «Оставьте меня в покое!» — и сочинил «ОМВП»... Необходим один изолированный индуктор в полнейшей идеатиши, то есть сосед за стеной.

Каков хитрец, а?

— И тут — такой сосед! У вас неплохо натренирована акустическая имажинация... Впрочем, довольно разговоров, пора заняться делом, прошу приготовить, теперь вам уже все понятно.

— Ровным счетом ничего. Что я должен сделать?

— Потом поймете. Я попрошу вас всего-навсего о повторении очень простого для вас дела — сыграйте мысленно что-либо. Но на этот раз вообразайте не только звуки и мелодию, но и все свои действия, реальную обстановку и происходящее вокруг. Сейчас подготовлю аппаратуру.

Словно боясь, как бы я не раздумал, он поспешно опустил сиреневые шторы и бросился к верстаку. Пространство затянуло сумерками.

Вот теперь возьмем реванш за твои фокусы! Прделаем ответный «экспериментик» — поставим твой «особо чувствительный рецептор» на жесткую пробу. А кстати и выясним: не мистификация ли вообще все это со стороны, быть может, и впрямь старого маньяка?.. И чтобы одним ударом убить всех зайцев, я задумал такой трюк,

Однажды я услышал на концертино превосходную вещь в исполнении исключительного мастера. И вот, представив себе, что играю, я вообразу, однако, не свою, а его игру — того виртуоза. При этом доведу еще имагинационно инструментальное звучание до кристальной чистоты и повышу красочность тембров до идеала.

И второе: на реальную обстановку наложу несуществующую, совершенно фантастическую. Так эксперимент будет усложнен наплывом имажинации на имажинацию. Посмотрим, не запутается ли в этом колдовская аппаратура. И не миф ли она вообще.

Я закрыл глаза, выключил мускулатуру и пресек бег вечно неугомной мысли. Сознание угасло в Мраке и Ничто.

— Начинайте,— тихо прозвучал голос.

И с магического мира фантазии скатился занавес.

...Эстрада в ярко-палевом электрическом свете. Рояль. Девушка... Светленькая, в голубом. На пюпитре ноты:

ТАНЕЦ ЭЛЬФОВ.

Беру концертино. Подаю девушке знак. И с клавиш рояля ручейками стекают прозрачные звуки.

Эстрада растворяется во тьме.

...Чернеет небо ночного леса. Фосфоресцируют россыпи светляков, причудливые грибы в больших бархатных шляпах, бледные мхи на старых пнях. Сияют в голубоватом свете травы, густые папоротники и подножия деревьев с вцепившимися в почву скрюченными лапами корней.

Ручейки рояля сливаются, по хрустальному потоку колокольцами разбегаются серебристые стаккато концертино. Из-за грибов и папоротников поднимаются эфирные эльфы.

Быстро перебирая клавиши, мои пальцы осыпают стайки эльфов звенящей дробью трелей. Призрачные, невесомые, едва касаясь почвы, эльфы все убегают свои грациозные, трепетные па. Быстрее! Престо! — и все смыкается в едином ритме.

Крецендо! Громче! Нервное напряжение бросает в дрожь — форте! — и уже душа вибрирует в звуках, взлетает к эльфам — фортиссимо! — и кружится с ними в голубом вихре.

...Последние пианиссимо рояля. От-

дельные, отрывистые пиццикато концертино. Исчезает призрачный мир...

Утомленные руки опускают инструмент. Освещенная желтым накалом эстрада. Девушка поворачивается и внезапно улыбается.

Черное ничто поглощает царство Майи. Царство, заточенное в величайшей мистереии Вселенной — человеческом аппарате мышления. В миллиардах его микроэльфов, пленивших Бесконечность.

Открываю глаза.

— Задание выполнено, уважаемый Борис Федорович,— произношу теперь и я с некоторой усмешкой.— Могу быть свободным?

— Позвольте задержать вас еще на несколько минут. У вас утомленный вид, но я быстренько.

Бездумно слежу за его суетней. Вот он снимает с какой-то установки на этажерке покрывало; открывается черная пластинка с писчий лист.

Переносит этажерку поближе. Вращает винты на установке. Что-то включает и переключает. Слышится шуршание. Пластинка покрывается бледной желтизной, бегут туманные блики, тени, мелькают слабые вспышки. Что-то проявляется. А что это такое?

...Эстрада. Рояль. Голубая девушка. Ноты... ТАНЕЦ ЭЛЬФОВ! В точности!

И посыпались кристально чистые тона рояля необычайной стереофонической резонансности, экран почернел, бисером рассыпались концертинные стаккато, экран сумеречно засветился, и развернулась фосфоресцентная феерия лесной сказки. В точности!

...Последний вихрь танца. Эльфы исчезают за папоротниками и грибами, на ночной лес наплывает палевая эстрада,

девушка у рояля поворачивается — она улыбается!

...Мир Майи растворяется в небытии, экран тускнеет, замелькали сполохи, запрыгали тени.

Тишина. Слабое шуршание. Сухой треск рубильника. Экран гаснет. Мертвая черная пластинка.

Медленно поднимаются шторы. В окна возвращается золотистый июньский день.

— Теперь, надеюсь, все понятно, уважаемый Михаил Семенович? — спрашивает мой несносный сосед с прежним налетом иронии.

— Ровным счетом ничего.

— Ну что тут непонятного, дорогой товарищ? Проще простого: произведено генеральное испытание последних моделей имажинационных микропанс-рецепторного фиксатора, модуляторного анализатора и тонально-визуального трансформационного репродуктора. Только и всего.

— А-а... Теперь все понятно.



ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ В РАССКАЗЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ

СТАККАТО — коротко, отрывисто.

ПРЕСТО — быстро.

КРЕЩЕНДО — все громче, с нарастанием силы звука.

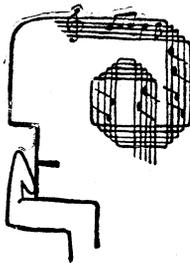
ФОРТЕ — громко, в полную силу звука.

ФОРТИССИМО — очень сильно, максимально громко.

ПИАНИССИМО — максимально тихо.

ПИЦЦИКАТО — извлекая звук на смычковых инструментах щипком — пальцем, а не смычком. (На концертино берется просто очень отрывисто).

КОНЦЕРТИНО — небольшая английская гармоника шестигранной формы. По тембру звука напоминает флейту, скрипку, кларнет.





МЫСЛЕЧЕРПАЛКА



Фантастический рассказ

М. НЕМЧЕНКО и Л. НЕМЧЕНКО

Рисунки Е. Стерлиговой

Спустя полгода после того, как локаторы «Дротика», летящего к центру Галактики, обнаружили впереди неизвестное тело, корабль повис в пространстве рядом с огромным сооружением причудливой формы. И уже на следующий день между повстречавшимися коллегами по разуму состоялся первый телеразговор.

— Откуда будете? — по традиции спросил командир «Дротика», разглядывая возникшее перед ним на экране неопределенного цвета существо, напоминавшее продолговатую картофелину, ростом этак метра в два.

— Здешние мы, — прозвучало с экрана после минутной паузы. — Вон оно, наше светило... — Похожее на картофельный росток тонкое щупальце показало на симпатичную синеватую звездочку.

— А летите куда? К ближним мирам или к дальним?

— Да вы что?! — уставилась на собеседника Картофелина. — Кто же теперь летает, разве что слаборазвитые... — Видимо, сообразив, что на «Дротике» могут принять этот эпитет на свой счет, она поспешила пояснить: — Нам по Галактике болтаться ни к чему. И так знаем всех, как самих себя. Это ведь у нас — мыслечерпалка...

на их планете давным-давно разработан универсальный метод расшифровки мыслей всех разумных существ, обитающих во Вселенной. А поскольку Космос битком набит идущими отовсюду волнами мысли-излучений, испускаемых мириадами черепных коробок и коробочек всех форм, образцов и типов, — то они, Картофелины, ни к кому не летают и информацию черпают пригоршнями прямо из пространства. Выходят на своих мыслечерпалках в окрестности родной звезды, где поменьше помех, — и тралят.

— Но ведь это... Просто невероятно! — От изумления командир «Дротика» с трудом подбирал слова. — Все мысли Вселенной!.. Как в сказке!..



— Уж такая сказка, что дальше некуда,— иронически хмыкнула Картофелина.— Например, когда вдруг узнаешь, что у кого-то в центре Галактики лет сто световых назад разболелся от обжорства замысловатый орган, выполняющий функции желудка. Или о том, как студенистый полупрозрачный субчик из созвездия Хвоста сгорает от желания заполучить в спутницы жизни дочку вышестоящего начальника... Из каждой тысячи выловленных мыслей девятьсот девяносто девять — сплошной быт. Семь потов сойдет, пока откопаешь в этом ворохе что-нибудь дельное. А нам ведь только новые идеи в выработку засчитываются. Умаешься за дежурство-то, так что и свет не мил...

— И долго приходится дежурить?

— Покуда норму не выполнишь — не сменят. Раньше-то еще ничего, за год управлялись. А нынче выполни ее!

— Что, повысили?

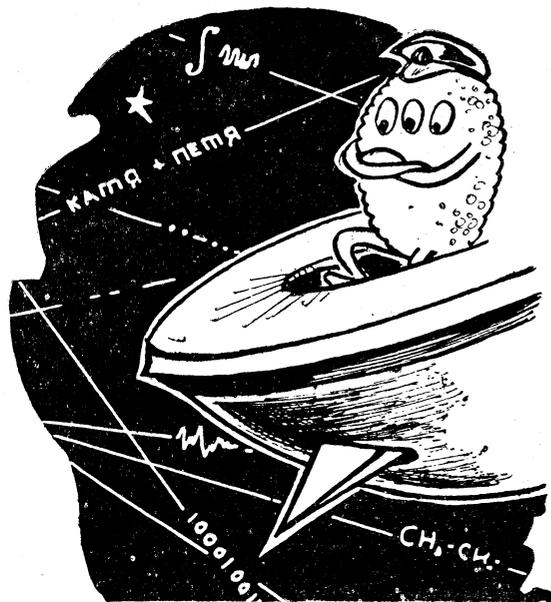
— Нет, норма та же: по девять кубов новых идей с каждого сектора неба. Да идей-то вот совсем мало стало... Понимаете,— Картофелина доверительно понизила голос,— закон природы, как говорится, за пазуху не спрячешь. Нашлись ловкачи, додумались... Ну, вам-то, конечно, не додуматься: уровень развития не тот. Но между прочим, можем вас посвятить, если желаете. Вы, с вашей галактической окраиной, нам не соперники...

— Желаем!.. Посвятите!..— раздалось из соседней каюты, где у параллельного экрана свободные от вахты земляне жадно ловили каждое слово инозвездца.

— ...Так вот, все передовые миры Галактики обзавелись черпалками собственной конструкции,— продолжала Картофелина.— Рыбалка стала всеобщей. Ну, и в результате оскудел эфир на новые идеи. Все только и норовят чужое подслушать, а чтобы самим какую новинку изобрести — это уж теперь редко от кого дождешься. Дескать, чего голову ломать, если у других, может, давно придумано... Вот и попробуй тут норму выполнить!

— Н-да..— протянул командир «Дротика».— Значит, мыслечерпалки привели к мыслеисчерпанию...

— То-то и оно,— вздохнула Картофелина, грустно мигая многочисленными глазками.— Прямо не знаешь, куда и кинуться. У нас ведь, того и гляди, весь научно-технический прогресс замрет. Ста-



рые-то идеи все вышли, а новых вылавливается все меньше...

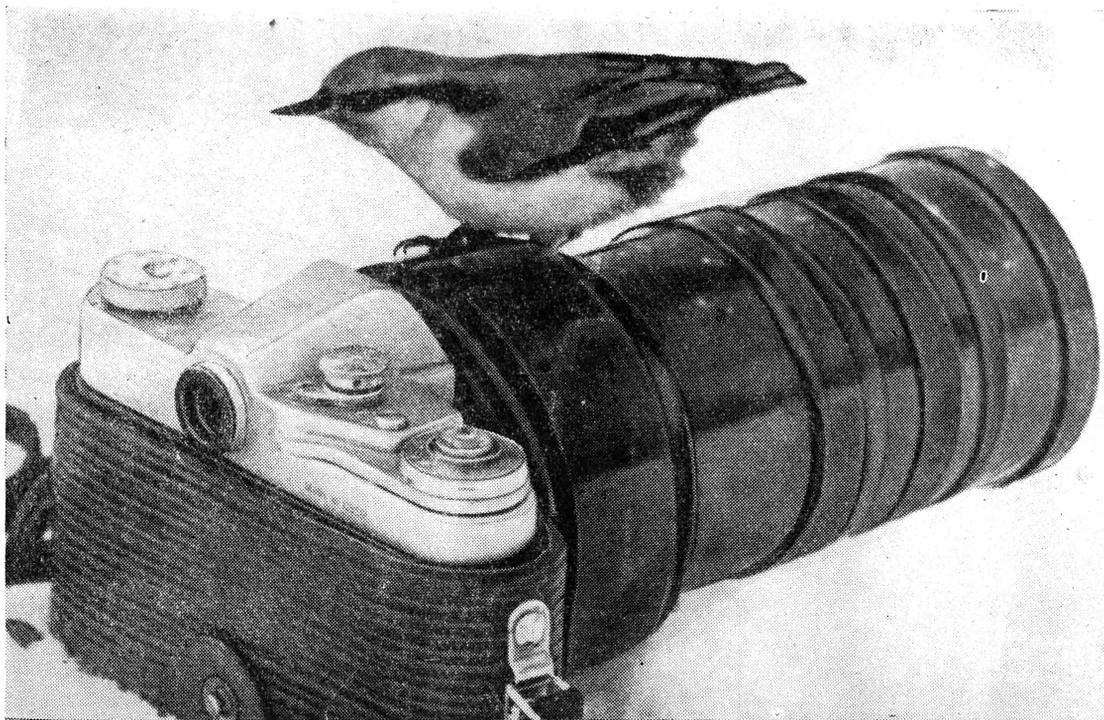
— Так вы сами больше придумывайте,— наивно посоветовал командир «Дротика».

— «Придумывайте!»..— неожиданно вспыхнула Картофелина.— Да мы пять тысяч лет на небесной пище живем!..— И, так же внезапно обмякнув, заключила: — Нет уж, самим нам теперь ничего не придумать. Разучились. Уж так у нас эволюция пошла... Э, да что там говорить!.. Давайте лучше познакомим вас с устройством мыслечерпалки. Так и быть, пользуйтесь.

— Мне надо бы посоветоваться с экипажем,— смущенно проговорил командир «Дротика».— То, что вы предлагаете, очень заманчиво, но... понимаете, мы должны подумать и о последствиях...

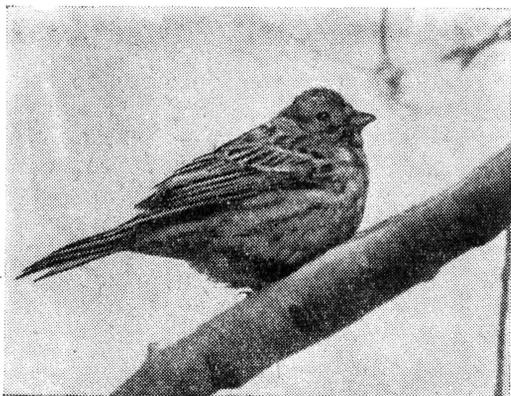
— Сейчас посмотрим, что они думают,— молвила Картофелина, нажимая щупальцами невидимые кнопки. Минуты две она молчала, словно к чему-то прислушивалась, потом вдруг все глазки ее презрительно сощурились.— Ха, о потюках они... беспокоятся, эти слаборазвитые! И командир — больше всех... Подумать только: боятся за свое «умение самостоятельно мыслить»! Не «подслушивать» они, видите ли, хотят, а «обмениваться идеями на взаимной основе...» Ну и прозябайте в своем невежестве, дикари несчастные!..

С этими словами разгневанная Картофелина исчезла с экрана.



ЖИЗНЬ НА ПУТИ ЖИЗНИ И СЧАСТЬЯ

Прошло уже несколько лет, как я сменил охотничье ружье на фотоаппарат и увлекся охотой на птиц. Увлечение это не из легких. Пожалуй, даже больше промахов и неудач. Но зато каждая удача приносит огромную радость,



Эту серенькую с желтым в крапинку брюшком пеночку-весничку я встретил ранней весной, в то время, когда в лесу еще было много снега. После многочасовой ходьбы присел отдохнуть на пенек. И тут-то мое внимание привлекло нежное пение этой птички. Пеночка все время была в движении — строила гнездо для потомства.

Когда я вечером возвращался домой, дорога была по-весеннему раскисшей, и я решил свернуть ближе к лесу. Тут-то около ручья я увидел белую трясогузку. Она сидела на большой кочке. Только-только я успел навести на птичку объектив, как она взмахнула крыльями, но затвор фотоаппарата уже сработал.



Трясогузка белая.

А вот еще одна моя знакомая — красивая с красновато-коричневой грудкой птичка — чекан луговой. Живет она на сырых луговинах. Любит сидеть на макушках высоких растений и кустарников, а увидев человека, чекан начинает беспокойно кричать «чек-чек, хи-чек-чек» и быстро перелетает с места на место. Гнездо этой птички я нашел в конце мая. Оно было отлично замаскировано в густой траве, и в нем шесть светло-голубеньких яиц. Через неделю в гнезде появилось пока еще совсем беспомощное потомство.



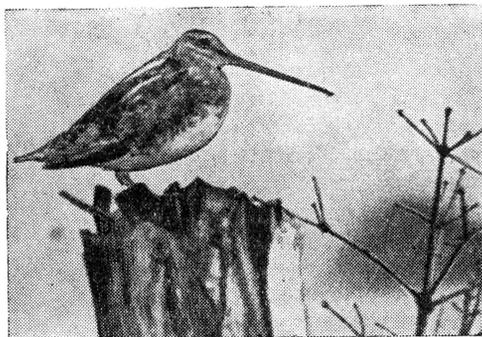
Чекан луговой.



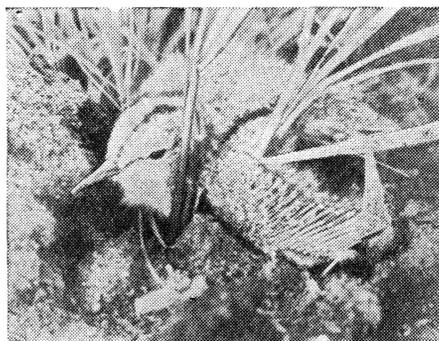
Гнездо чекана лугового.



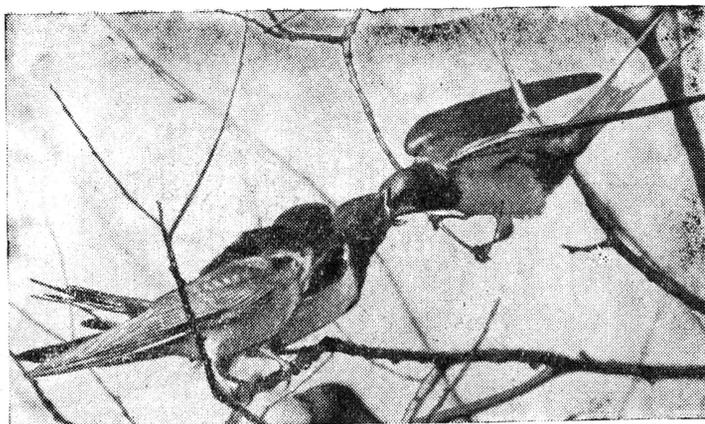
Скворец



Бекас



Птенец бекаса.



Стрижи.

В тот же день мне позировал скворец.

Птенца бекаса мне удалось сфотографировать на одном из лесных водоемов. Его долго отводила от меня беспокойная «мамаша». Но наконец он совершенно выдохся, и я прилично устал. Он спрятался от меня в траву и, наверное, подумал, что я его не увижу. Ошибся.

Взрослый бекас отличается от других болотных птиц резким падением в полете, который сопровождается характерным звуком, похожим на крик молодого барашка. Вот почему его и зовут в народе бекас-барашек.

И еще одна, на мой взгляд, удача — стрижи. Мне удалось посмотреть, как встретились они.

С М Е Ю А Й - Ю А!

В лесу вам попались на глаза хвостовые перья каких-то птиц. [Уменьшены в четыре раза]. Попробуйте определить, какие птицы их потеряли.



ОТВЕТ НА РИСУНОК-ЗАГАДКУ В № 10

Ларчик открывается ключом с тремя бородками. А такой только один — № 39.



Что это за птицы!



Рисунки А. БОЙЧЕНКО

НАХОДКА В АРХИВЕ

В 1919 году в Уфе Ярослав Гашек вел активную работу среди военнопленных иностранцев, призывал их вступать в Красную Армию, с оружием в руках защищать завоевания Великого Октября. Он заведовал советской типографией, руководил Уфимской организацией иностранной коммунистической партии большевиков, комитет которой подчинялся политотделу 5-й армии.

Казалось, уже известны все документы, подписанные Гашеком в период его пребывания в Уфе. Но нет. Недавно в Центральном Государственном архиве БАССР найдено письмо Ярослава Гашека от 8 августа 1919 года в Уфимский ревком. В письме выражается просьба приказом провести в жизнь постановление Совета Оборона о регистрации всех иностранцев. «Комитет, — говорится в письме, — просит регистрацию ему поверить или при регистрации дать возможность присутствовать нашим представителям».

Такое письмо председателя комитета Уфимской организации иностранной коммунистической партии Ярослава Гашека было вызвано стремлением как можно больше привлечь на сторону Красной Армии военнопленных из числа чехословаков, обратить их в активных борцов против белогвардейцев и интервентов.

Вскоре ревком Уфы удовлетворил просьбу Гашека, и при регистрации иностранных военнопленных присутствовал представитель Уфимского комитета, который знакомил их с положением на фронтах, агитировал вступать в Красную Армию.

В. ЕРАНОСЬЯН

В НОМЕРЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- ПОЭТИЧЕСКИЕ МАРШРУТЫ
Б. Кауров 15
КАТЕР С МОТОРЧИКОМ 40
Е. Рыбников. Рассказ
СКРИПКА 42
Г. Пацienко. Рассказ

О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ

- ДЕСАНТ ВЫБРОШЕН 1
И. Колос. Записки разведчика
ЕСЛИ ХОЧЕШЬ ПОНЯТЬ... 18
В. Овчинников. Очерк
ПО СЛЕДАМ ФОТОГРАФИИ 31
И. Тюфяков
МИЧМАН СУХОПУТНОГО ОТРЯДА
Челябинские следопыты. На приз нашего журнала 35
В МОРЕ — ДОМ НАШ 54
Я. Вадильев. Очерк

КРАЕВЕДЕНИЕ

- «ДЕЛО» О А. С. ГРИБОЕДОВЕ 17
Л. Кашихин
ПОМЕТКИ НА СТАРОЙ КНИГЕ 30
Б. Чельшев
ОТ ТУРИНСКА ДО КУЛЬДЖИ 48
А. Мотырев
ССЫЛЬНЫЙ ЖУРНАЛИСТ 29
А. Коровин

ДОРОГАМИ ПОИСКА

- СЛЕДОПЫТСКИЕ ДЕЛА 10
МЕТКО, НЕ ПРАВДА ЛИ? 46
В. Житников
НАХОДКА В АРХИВЕ 80
В. Ераносьян

МОЙ ДРУГ — ФАНТАСТИКА

- ТАНЕЦ ЭЛЬФОВ 70
Э. Зеликович. Рассказ
МЫСЛЕЧЕРПАЛКА 74
М. Немченко и Л. Немченко. Рассказ

ИЗ КНИГИ ПРИРОДЫ

- ЖОРИК 69
Н. Воробьев.
ТРОФЕИ ФОТООХОТНИКА 76
О. Капорейко

ОБЛОЖКА В. ВОЛОВИЧА И С. КИПРИНА

РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Технический редактор

Э. Максимова

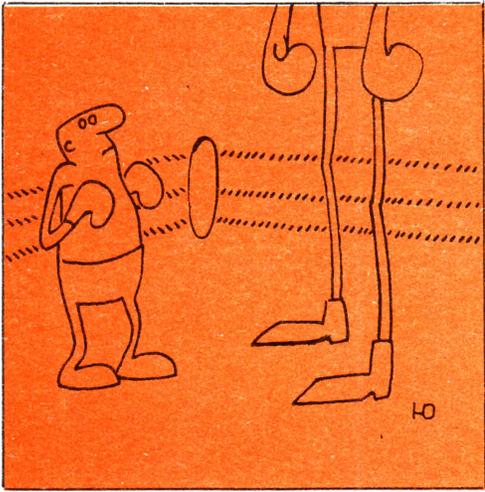
Адрес редакции: Свердловск, ГСП-353, ул. Малышева, 36, комн. 79 и 87. Телефон Д1-22-40.

Средне-Уральское Книжное Издательство.

Корректор

В. Бурангулова

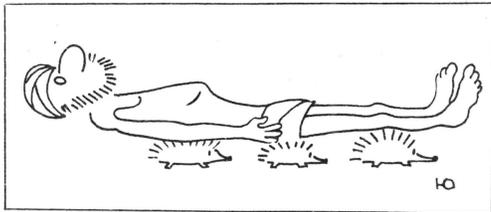
Подписано к печати 14/X 1968 г. Бумага 84×108/16=2,62 бум. л.—8,82 печ. л. Уч.-изд. л. 9,43
НС 13240 Тираж 115 000. Цена 30 коп. Заказ 536



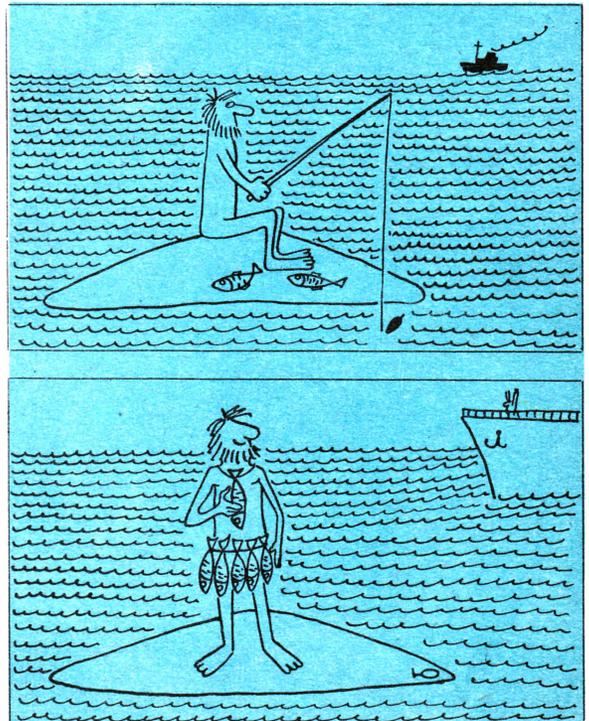
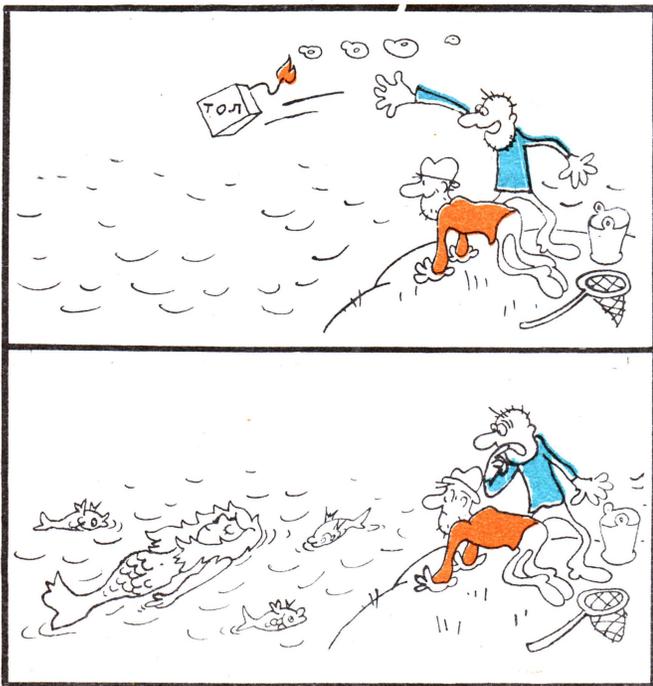
Явное преимущество



Рисунки
В. Юрчикова,
В. Волкова,
В. Милейко



Тренировка



Джентльмен



Е. КОБЕЛЕВ (Тюмень)

НЕФТЯНИК

30 коп

73413

Главный редактор И. АКУЛОВ

Редколлегия: В. АЛЬТОВ, А. АСС, В. АСТАФЬЕВ, А. БОГАЧЕВ (зам. главного редактора), М. ГРОССМАН, Ю. КУРОЧКИН, О. ЛЕОНОВА, А. МАЛАХОВ, МУСА ГАЛИ, В. НИКОНОВ, Н. НИКОНОВ, Л. РУМЯНЦЕВ, И. ТАРАБУКИН (ответственный секретарь), Ю. ХАЗАНОВИЧ, В. ШУСТОВ